

В а с и л и й А к с е н о в

ОЖОГ



Василий Павлович Аксенов

Ожог

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153011
Василий Аксенов. Ожог: ИзографЪ, ЭКСМО; Москва; 2004
ISBN 5-94661-114-3

Аннотация

Роман Василия Аксенова «Ожог», донельзя напряженное действие которого разворачивается в Москве, Ленинграде, Крыму шестидесятых – семидесятых годов и «столице Колымского края» Магадане сороковых – пятидесятих, обжигает мрачной фантасмагорией советских реалий.

Книга выходит в авторской редакции без купюр.

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Василий Аксенов

Ожог

Посвящается Майе

КНИГА ПЕРВАЯ «Мужской клуб»

*...Но право, может только хам
Над русской жизнью издеваться...*
Александр Блок

Наконец-то! Двери! Здесь, у дверей своей квартиры, я вздохнул с облегчением: сейчас нырну куда-нибудь во что-нибудь теплое, во что-нибудь свое, в подушку, в одеяло, или в кухню нырну, где так красиво разложены овощи... а может быть, нырну в книгу... там валяются на полу «Приключения капитана Блада» и «Драматургия Т.С.Эллиота» и какая-то лажа по специальности, словом... а не нырнуть ли в горячую ванну?... никому не открывать, на звонки не отвечать, сидеть в пузырях, в простых и понятных мыльных пузырях и забывать всю эту внешнюю дикую белиберду.

Я переступил порог и блаженно пошевелил пальцами в сумерках. Вот выплыли из темноты мои домашние: ковбой, нарисованный на двери уборной, чучело пингвина, ключ Ватикана с портретом папы Иоанна XXIII, рулевое колесо разбитой в молодые годы автомашины, посох Геракла, лук Артемиды, ну вы знаете, все такое шутовское, благодушно (спасибо женщинам за заботу!) ... милые, милые домочадцы... как вдруг в глубине квартиры громкий голос отчетливо сказал: «Родина картофеля – Южная Америка!»

...и тут я позорно растерялся, заметался под напором этого страшного голоса, который продолжал говорить что-то уже совсем непонятное. Я покрылся липким стыдным потом, пока не сообразил, что это телевизор где-то в моей квартире работает. Наверное, вчера забыл выключить, когда блаженствовал с бутылкой перед мелькающим экраном.

Опомнившись, я бросился в спальню, прыгнул на кровать, стряхнул с ног башмаки, закутался в шерстяное одеяло, включил ночник, открыл журнал «Вокруг света» и положил его себе на лицо. Сердце еще колотилось, дергалась мышца на шее, прошедший день бушевал в закрытых глазах, словно компания пьяных подонков.

Да все-таки, что же особенного произошло? Да ведь ничего же особенного, ей-ей. Давай, друг, организуй прошедший день. Возьми себя в руки. Начни с утра.

...Утром я плелся по переулку к метро, а за моей спиной ничего особенного не происходило, только что-то ужасно скрежетало, громыхало и лязгало. Понимая, что там нет ничего особенного, я все-таки не оборачивался, боялся – а вдруг что-нибудь особенное?

Навстречу мне между тем под ветром и брызгами дождя шел человек с разлохмаченной головой. Перед собой он держал половинку арбуза и ел из нее на ходу столовой ложкой.

Беспредельно пораженный этой картиной, я понял, что есть какая-то связь между этими утренними явлениями, и обернулся.

Мальчик лет десяти тащил за собой по асфальту ржавую железную койку, на которую нагружены были тазы, куски водопроводных труб, краны, мотки проволоки, бампер инвалидной коляски и что-то вроде старинного самолетного пропеллера.

Я быстро рванул в сторону и остановился на углу. Оглянулся снова. Мужчина с арбузом приближался к мальчику с железом. Вот они поравнялись и остановились. Мужчина зачерпнул ложкой поглубже и угостил мальчика. Мальчик с аппетитом съел содержимое ложки, а потом что-то сердито сказал мужчине, покрутил пальцем у виска и стал разворачивать свой транспорт под арку дома. Мужчина виновато пожал плечами, усмехнулся и пошел дальше на шатких ногах.

Я вытер пот со лба. Ничего страшного не происходит, ничего абсурдного, мир ничуть не изменился за прошедшую ночь. Мальчик тащит в родную школу свою норму металло-

лома, а мужик, его папаня, бедолага-алкаш, ничем не хуже меня, идет от арбузного лотка к «Мужскому клубу», пивному ларьку возле Пионерского рынка. Вот только где ложку взял – загадка. Неужто прихватил из дома? Неужто такая предусмотрительность?

Я обнаружил вокруг себя привычный хлопотливый уют московского перекрестка, где торговали пирожками, шоколадками, яблоками, сигаретами, расческами. Купил яблоко, пирожок с мясом, шоколадку, пачку «Столичных», расческу и причесался тут же перед телефонной будкой. Как мило все вокруг! Каким добродушным юмором наполнены все предметы!

Возле метро, как всегда, в наполеоновской позе стоял мой сосед Корешок, brutальный мужчина полутора метров росту, но с ярко выраженным мрачным секс-апиллом. Исполинская грудь его была выпячена, волосы расчесаны и заправлены за крупные уши, голубой пижамный шелк полоскался вокруг крохотных ног.

Я поздоровался с Корешком, но он меня даже и не заметил. Мимо как раз бежали лаборантки из Института Киноплёнки, и Корешок следил за ними мрачно горящим взглядом, воображая, должно быть, себя и свой член в их веселой стайке. Словом, все было на своих местах, и я стал спокойно спускаться в наш подземный мраморный дворец.

Приятно, в самом деле, иметь у себя под боком подземный мраморный дворец. Даже нам, современникам космической эры, приятно, а как приятно, должно быть, было москвичам тридцатых годов. Такие дворцы, конечно, очень их бодрили, потому что значительно расширяли жилищные условия и приобщали к безопасному величественному патриотизму.

Светились, подмигивали разменные автоматы, но я направился к последней на нашей станции живой кассирше.

У этой милой усталой женщины, просидевшей в мраморном дворце всю свою жизнь, теперь, в автоматное время, начали отдыхать руки, и даже книга появилась, в которую она иногда заглядывала своим лучистым глазом.

Мне нравилось менять серебро у нее, а не в автомате: то ахнешь на бегу насчет погоды, то пошутишь по адресу женского пола, а однажды, не сойти мне с этого места, я преподнес ей гвоздику.

Я уж открыл было рот для шутки, экие, мол, женщины чудачки, как вдруг увидел за стеклом вместо милой кассирши нечто совсем другое.

Не мигая, на меня смотрело нечто огромное, восковое или глиняное, в застывших кудряшках, с застывшими сумками жира, лежавшими на плечах, нечто столь незыблемое, что казалось, Творец создал его сразу в этом виде, обойдясь без нежного детства и трепетной юности. Орденовая планка венчала огромную, но далеко не женскую грудь новой кассирши. Знак почета, что ли?

– А где же Нина Николаевна? – спросил я растерянно.

Ничто не дрогнуло, ни одна кудряшка, только пальцы чуть пошевелились, требуя монеты.

– А что же Нина Николаевна? – повторил я свой вопрос, просовывая в окошко пятиалтынный.

– Умерла, – не размыкая губ, ответила новичок и бросила мне два пятака.

– Два? – спросил я.

– Два.

– А полагается ведь три?

– Три.

– А вы мне даете два?

– Два.

– Понятно. Извините. Спасибо.

Я схватил монеты и, насвистывая что-то, устремился к турникетам, вроде бы ничего особенного не произошло, вроде бы все в порядке, а на самом деле все было не в порядке, все колотилось то ли от ужаса, то ли от странной неожиданности, от пугающей новизны жизни.

Отмахиваясь от диких воспоминаний, я лежал с журналом «Вокруг света» на лице, а внутри, в глубине моей квартиры тем временем творилось что-то невероятное, шла прозрачная тележизнь.

– Виктор Малаевич – ВРАЧ, – сказал там кто-то со страшным нажимом.

Пауза. Покашливание.

– ...и вместе с тем ФИЛАТЕЛИСТ, – это было сказано значительно мягче.

Снова пауза, стук стульев... и уже совсем по-человечески:

– Пожалуйста, Виктор Малаевич.

Заливистый короткий кашлешочек Виктора Малаевича.

Ясно, что еще и КУРИЛЬЩИК.

– Вот зубцовая марка черно-красного цвета без номинала...

Когда-нибудь в проклятом ящике перегорит трубка? Нужно встать, изгнать филателистов из квартиры и чаю заварить, крепчайшего чаю, а виски – ни капельки, хотя вот же на подоконнике почти полная бутылка «Белой лошади»... Машка вчера (позавчера? третьего дня?) принесла с Большой Дорогомиловской, из валютки... какая трогательная забота!

* * *

В поезде метро все свои шесть перегонов Аристарх Аполлинариевич Куницер думал о новой кассирше. Нет, не от жадности она зажала третий пятак, оно не ищет выгод, он лишь показал мне свою неумолимость, он удержало мой пятак, УДЕРЖАЛО без объяснения причин, оно не ответил на улыбку и не ответило бы и на слезы, этого их благородие не любят.

Обычно он приободрялся, подходя к своему институту, где заведовал огромной секретнейшей лабораторией, начинал думать о своей науке, о морали, о лазерных установках, о сотрудниках и сотрудницах, у кого сегодня библиотечный день, у кого месячные, о деньжатах, о халтурке и так далее, но сегодня все лезла в голову утренняя дичь: и металлолом, и арбуз с ложкой, и глиняный бульдог вместо Нины Николаевны, и третий пятак, блуждающий сейчас неизвестно где по подземному царству.

Следующий сюрприз ждал Куницера в гардеробе собственного института. Новый гардеробщик прищуренным чекистским взглядом смотрел на него. Седоватый ежик на голове, сквозь который просвечивает буроватая с пятнышками кожа, пучки седых волос из ушей и над бровями, надменный мешок под подбородком и горячие черные вишенки глаз, полные неприязни, подозрительности и даже – ей-ей – презрения...

Куницер вздрогнул. Горячие эти глазки и даже не столько глазки, сколько презрение в них, что-то ему напомнили. Что? Воспоминание уже улетело, едва коснувшись лба совиным крылышком.

Тьфу ты, пропасть! Он бросил ему пальто, взял номерок, взбежал по лестнице, но не удержался и выглянул из-за колонны.

Новый гардеробщик был солиден, как генерал в отставке. Теперь он сквозь очки изучал вторую страницу «Правды». Ему бы подошла профессорская кафедра в Академии Общественных Наук, стол в ОВИРе или, на худой конец, бразды правления в ЖЭКе, но уж никак не гардеробная. Да, вид его был здесь странен, но никаких воспоминаний, слава Богу, уже не вызывал. Да ладно, большое дело – новый гардеробщик! Отдал пальто, получил номерок, отдал номерок, взял пальто, вот и все отношения. Ну, может, гривенник бросишь, если в хорошем настроении.

* * *

...Тот солнечный денек... скрипучий снег... сосулька, как сталактит, свисавшая с карниза...

...С карниза школы, а напротив школы те четверо, КОТОРЫЕ НЕ ПЬЮТ...

А, ерунда! Ничего в нем нет особенного, и день прошедший был самым обычным. Это все фокусы похмелья – все эти спазматические воспоминания, белиберда с пятаками...

Поменьше надо поддавать! Вообще – к черту проклятое зелье! Мало ли других радостей в жизни? Бабы, например... яхты, космос, саксофон, лазеры, толстые книги, чистая бумага, Лондон, бронза, глина, гранит... бабы, например...

Вот загудело – включился далекий большой зал, КВН начался. Теперь не раньше полуночи уgomонятся. Одесский юмор. Нет сил встать и выключить. И попросить некого. Дожил – попросить некого. Надо завести дистанционное управление, чтобы выключать гадину прямо с кровати. Да, это выход – дистанционное управление!

* * *

Пока что рука естественно тянется к подоконнику.

* * *

О, муха дрозofiла, мать мутаций!

* * *

Куницер даже и не сразу заметил проскользнувшую в его кабинет девушку. В пыльном сумраке, в складках тяжелого бордового, сталинских еще времен панбархата он краем глаза уловил какую-то полоску свечения, потом вполглаза какой-то контур и лишь потом уже объем, все еще не вполне телесный, полупрозрачный...

Тогда уставился и разглядел подробно ее мини-юбочку, и слабые колени, и ручки, прижимавшие ко греховному устью какой-то стеклянный ящичек, и острые плечики, как бы пристыженные маленькими красивыми грудками, и полу-детское в этих бордовых сумерках лицо, тоже как бы пристыженное и грудью, и плечиками, и сочленениями ног.

Потом он услышал ее голос, тронутый стыдом за тело, за ее небольшое тело, созданное для греха и только для греха.

– Здравствуйте, Аристарх Аполлинариевич. Меня прислала Мартиросова из Института генетики. Вы договаривались... Я принесла нашу дрозofiлу...

Он ничего не понял, потому что уже шел к ней, содрогаясь от всеограшающего желания, а она, конечно, все поняла сразу и едва успела поставить свой стеклянный ящичек на пол. Она коротко вздохнула, когда он взял ее за плечи и бессильно откинула голову, отдавая свое горло его жадному хулиганскому рту, а потом приняла его в свои маленькие потные ручки и даже услужливо подпрыгнула, когда он сажал ее на подоконник.

Преодолев первую судорогу проникновения, внедрившись и утвердившись, он увидел у своей ноги стеклянный ящичек, внутри которого ползали крохотные мушки, великое множество, и тогда все связалось, все прояснилось.

Не далее как вчера он разговаривал по телефону с профессором Мартиросовой, эдакой видной дамой, чемпионкой всего комплекса по теннису. Профессор просила пометить его

волшебным лазером партию ее любимых мушек-дрозофил, на которых она столь успешно изучает то ли мутации, то ли еще какие-то там херации. Он для порядка вначале покобенился, поломался, вроде бы этот лазер ему самому нужен (зачем?) , а потом согласился – тащите, мол, ваших цокотух.

Ну вот и хорошо, сказала старая ведьма, завтра я их вам принесу. Сами принесете? – испугался он. Почему же нет? – голос Мартиросовой в трубке слегка «поплыл», ушел на порядок ниже, в глубины тренированного организма. Что вы, что вы, профессор, зачем вам утруждаться, я уж какого-нибудь своего халтурщика пришлю за вашей пад... за вашей падалью, вот именно. Значит, не хотите, чтобы я сама пришла? Боже упаси, профессор! Как-то неинтеллигентно вы себя ведете, старик. Профессор, это со мной бывает. Ну, хорошо, я пришлю с лаборанткой. Такой был разговор.

Это, значит, лаборантка Мартиросовой... она принесла мух... вот эта, которая сейчас стонет, откидывая голову, что-то бормочет, пальцы вскидывает к лицу, вот эта, вот эта, вот эта...

Тут оба они закрутились в огненном гоголь-моголе оргазма, а очнулись уже не на подоконнике, а на диване. Таинственное перемещение.

Он кашлянул и пошел к своему столу, сел в кресло с высокой спинкой, строгий, прямой, ни дать ни взять президент колледжа. Вдруг поймал ее взгляд, едва ли не безумный, и уронил голову на руки.

Он был потрясен случившимся. Откуда вдруг пришло это неукротимое желание чужой плоти, желание ошеломить, взбесить, растряссти это маленькое существо и вслед за этим жалость, щемящее чувство вины, нежность к этой хиленькой девочке, желание спрятать ее от всех бед?

Ну, с жалостью-то скотина справилась вполне благополучно.

* * *

Он пошевелил какие-то бумаги на столе и глуховато, солидно спросил:

– Так что же? Вы принесли что-то от Мартиросовой?

– Да, дрозифилу...

– Вот этих мух? Гадость какая, надо же!

– Нет, знаете ли, Аристарх Ап... поллиinarieвич, они даже красивы, при увеличении они даже красивы, – в глазах лаборантки появилась вспышечка надежды улыбки, – знаете, мы любим нашу дрозифилу... право, она не гадость...

– Да я шучу.

– Понимаю, – надежда и улыбка погасли.

– Понимаете юмор?

– Считается, что понимаю.

– Вот и прекрасно. Оставляйте вашу падаль. Привет старой ведьме.

Его уже начал раздражать ее растерзанный вид, расстегнутая кофточка, задранная юбочка, глаза на мокром месте. Она, видно, поняла, засуетилась с пуговками, но все-таки спросила через силу:

– Аристарх Аполлиinarieвич, а правда, что вы?..

– Вздор! – вскричал он. – Клевета! Нелепые слухи! Хотел бы я видеть мерзавцев, что распространяют эти сплетни! Гады какие, завидуют моей зарплате! Знали бы, сволочи, как я за нее горбачусь! Никогда ничего про меня не слушайте, мало ли что наплетут. Всюду эти слухи, слухи... Извините, что-то нервы шалят. Что же вы сидите? Есть ведь, между прочим, трудовая дисциплина. Идите!

– Я не могу уйти... я же не могу без них... отдайте мне это, и я уйду... нет, я не плачу, но не могу же я без этого...

– Да без чего, черт возьми?

– Вот, вы сунули их в карман... они у вас в кармане.

– Да, вы правы! Простите великодушно. Возьмите! Отворачиваюсь. Все в порядке? Вас, должно быть, Инной зовут?

Когда Куницер повернулся, никого в кабинете уже не было. Солнечное пятнышко исчезло, и складки сталинского бархата свисали незыблемо. Он взял со стола сильную лупу и уставился на мух в стеклянном ящичке. Они действительно были красивы: тигриной расцветки тела, искрящиеся крылышки, выпуклые глазки, как осколки смарагда.

Девушка исчезла! Ничего не было! Она появилась, оставила мух и растворилась в бархате, ничего не было!

Он бросился вон, пролетел по лестнице вниз и увидел ее в огромном пустом вестибюле. Инна, хотел было он уже крикнуть ей, Нина, Марина, вернись и не уходи никогда, ты мое спасение, но тут заметил рядом с ней давешнего гардеробщика.

Брюзгливо и вельможно опустив углы губ, гардеробщик что-то говорил девушке, что-то втолковывал ей, как бы поучал, как бы корил, а она зябко поеживалась, влезая в свою болонью, и вдруг рванулась, побежала прочь с закинутым лицом, простучала каблучками по паркету и скрылась теперь уже совсем.

Итальянские туфли по 60 рублей, а получает она 80. Вот загадка этих маленьких лаборанток. Получают восемьдесят, а туфельки покупают по шестьдесят. Одна из главных московских тайн.

– Ишь ты, побежала, – игриво кашлянув, сказал Куницер новому гардеробщику.

Ему почему-то захотелось скрыть от него свой порыв, свою странную тревогу и показать как раз наоборот, что он свой, лояльный, благонамеренно придурковатый, никакой, мол, не интеллектual, свой, свой; и о девчонках можно потолковать, и о ледовых рыцарях, и о...

– Вы почему не на рабочем месте, молодой человек? – раздельно и с явной угрозой спросил гардеробщик.

Куницер оторопел. Никто в их шараге не смог бы ТАК спросить. Такого тона он не мог даже вообразить ни у шефа, ни у начальника первого отдела. Тем временем маленькие горячие глазки обыскивали Куницера, быстро ощупали лицо, обыскали пиджак, брюки, туфли, в беглом досмотре пробежались по карманам и остановились там, где лежала записная книжка Куницера со всеми его адресочками, телефончиками, со стишком и с формулой, записанной в сортире, с формулой, у которой были контуры птицы, с контурами гениальной формулы.

– Спички есть? – растерянно спросил Аристарх. Гардеробщик, довольный его унижением, взялся за газету со словами:

– Да, дисциплинка тут явно хромает.

тот яркий плотный снег

и солнце в коридорах

пустой урок пинок

эй Толька фон Штейнбок

иди тебя там ждут

под теми ЧТО НЕ ПЬЮТ

горняк моряк доярка и ваня-вертухай

и черное пятно на солнечном снегу

машина марки «ЭМ»

иди быстрее Толик

машина видишь ждет, а Сидоров, прыщавый гнилозубый все прыгал по партам на манер Читы с диким воплем «зачесалось муде, непременно быть беде», пока и он не затих, глядя вслед уходящему в глубину коридора фон Штейнбоку.

А.А.Куницер повел себя крайне странно. Он подошел к гардеробщику и вырвал у него из рук газету.

– Я вам не молодой человек, а заведующий лабораторией номер четыре, – донесся до него его собственный голос, звенящий, право же, неподдельным возмущением, – я доктор наук, член-корреспондент Академии, гонорис кауза Оксфордского университета, заместитель председателя месткома, кандидат в члены партии, член ученого совета, и не ваше дело судить о дисциплине в нашей шараге!

Выпалив все это, Куницер заметил, что гардеробщик стоит навтыжку с почти закрытыми глазами и подрагивающим пятнистым зобом.

– И не смейте читать газеты в служебное время! – рявкнул обладатель стольких титулов.

– Что же мне делать, если все уже повесились? – Гардеробщик, тяжело дыша, извлек огромный носовой платок, слегка заскорузлый по краям, и прикрыл им свой рот.

– Следите за пальто! – скомандовал Куницер. – Бдительно и четко охраняйте собственность личного состава. Ясно?

– Так точно!

– Но по карманам не рыскать! Понятно?

– Так точно!

«А не спросить ли мне его фамилию? – подумал Куницер. – Ведь я же помню ТУ фамилию, да и морду помню, я его узнал... нет-нет, этого уже много для сегодняшнего дня, а до вечера еще далеко... Это не тот. Тот сейчас, должно быть, в генеральском чине, он не может быть в гардеробной. Конечно, и этот один из них, один из той сталинской мрази... их вокруг тысячи, заплочных дел мастеров... заплочного дела профессор на заслуженном отдыхе...»

Куницера вдруг замутило то ли еще с похмелья, то ли от гадливости, и он еле успел дойти до туалета и запереться в кабинке.

* * *

Боже, Боже, есть ли конец одиночеству? Ведь даже тогда в ту весну, когда невская слякоть просачивалась сквозь стертые подошвы, в ту двадцать четвертую весну жизни, когда романтическим онанистом я бродил среди молчащих памятников «серебряного века», и читал призывы вступать в ряды доноров, и думал о донорах Будапешта, даже тогда бездежный и брошенный в ночь наводнения на Аптекарском острове, я был не одинок и чувствовал за своей спиной мать-Европу, и она не оставляла меня, юношу-европейца, и была она, ночная, велика и молчала. Где ты?

* * *

Пока почтенного членкора выворачивало, из записной его книжки в голову просочилась заветная формула, а из головы спроецировалась на кафель и теперь дрожала на нем, массивная и крутобедрая, то ли индюк, то ли птица-феникс. Куницер выскочил из туалета, таща ее за хвост. Она побряхтывала, пока он несея по коридору в свою лабораторию. Встречные шарахались.

– Осторожнее, братцы, гений летит! Наверно, новую формулу тащит в свой гадюшник!

Так он и ввалился в лабораторию. Ребята его, ошалевшие от преферанса, козла, морского боя и «Литературной газеты», расхохотались – опять, мол, чиф с новой птичкой!

Что-то в лаборатории шипело: то ли лазеры работали, то ли жарилась колбаса, сказать трудно. Не глядя на халтурщиков, Кун начал перерисовывать свою формулу на доску. Теперь он уже не стыдился за нее, потому что хвост ее уже не напоминал размочаленный веник, а торчал в северо-восточный угол доски, как фаллос на полувзводе.

Через полчаса кто-то, добрая душа, сунул ему бутылку пива. Формула, стальная птица, усмиренная, уже дрожала на доске, чуть-чуть позванивая перьями, слегка кося на всю банду агатовым глазом. Клопоча пивом, Кун отлакировал ей копытца, отошел в сторону и сел в углу на ящик. Халтурщики приступили к обсуждению. В лаборатории разрывался телефон, должно быть, Министерство обороны уже пронюхало об открытии. Никто, однако, трубки не снимал – сами приползут, если надо.

– Але, чиф, а можно ей под сраку дулю подвесить? – донесся до Куна голос любимого ученика, нахального Маламедова.

– Руки оторву! – рявкнул Кун и то ли заснул, то ли потерял сознание, словом «отключился».

* * *

Очнулся я на улице. Мимо стайками бежали лаборантки, машинистки, ассистентки, невинные жертвы столицы. Пахло снегом, как на горном перевале. Реклама ВДНХ шипела над перекрестком своим раскаленным аргонном. Из Шереметьевского аэропорта под эскортом грязных самосвалов катила дипломатическая «Импала». На заднем сиденье клевал носом, как всегда бухой, мой кореш, профессор-кремниолог Патрик Таннерджет. Я подходил к метро.

В метро. Гул. Шлепанье подошв. Брехня. Смех. Лай. Смехолай. Голос книготорговца: новое о происках мирового сионизма! Естественно, первый покупатель – еврей. Советский еврей. Умный усталый хитрющий трудящийся еврей. Умный усталый хитрющий патристически настроенный трудящийся еврей-специалист по космосу, по скрипке, по экономике, секретнейший по шахматам тренер коренного населения.

* * *

Наблюдения над евреем прекратились: закрыт двумя задницами, придавлен третьей. Осел, едущий в метро, а «Запорожец» гниет под забором.

Следующее подземное впечатление – маринованная вода, точнее, газировка с облачком сиропа, похожим на оборонительные выделения каракатицы.

Гад проклятый, куда завалился? Минуту или больше я искал по карманам утренний пятак. Неужели новый гардеробщик стянул? Вот тебе и генеральская внешность. Внешность бывает обманчива, всю жизнь слышишь эту премудрость, пора бы уже усвоить к сорока-то годам. Стянул – ясно. Завтра же поставлю вопрос о краже на Ученом совете и передам дело в партком, а копию в ЦК профсоюза инвалидов. Пусть разберутся, за что им деньги ПЛЮТЯТ.

А вдруг недоразумение, несправедливость? Кажется, я что-то ел сегодня в буфете. Конечно же, брал винегрет за шесть копеек и платил медью без сдачи, большой монетой и маленькой. Да вот ведь и маринованную воду я пил за пять копеек. Отчетливо помню, с каким трудом запихивал пятак в трехкопеечную щель. Да, хорошо, что разобрался, у невинного человека могли быть страшные неприятности. Короче говоря, нечего дурака валять, никого он тебе не напоминает, этот гардеробщик. Жлоб как жлоб, ничего особенного. Все у тебя в порядке, и день прошел не без пользы, а кое в чем были даже удивительные достижения.

Весело и бодро насвистывая, сокрушительный удачливый мужчина подошел к длинному ряду подмигивающих меняльных аппаратов.

Вот она, цивилизация! В 1913 году в царской России не было ни одного меняльного аппарата, сейчас на одной только нашей станции 14 меняльных аппаратов. Выбирай, какой хочешь!

Я посмотрел внимательно на всю вереницу и вдруг обнаружил, что выбора нет. Из всех этих четырнадцати автоматов ОДИН не мигал, а смотрел на меня плоским зеленым глазом, и вот именно к нему я должен был направить стопы, потому что это и был Их благородие, член подземного бюро.

Покорно, забыв уже обо всем на свете, о родине и о просторах Вселенной, о детстве и о любви, забыв и предав уже мать мою, спящую Европу, я подошел и вложил в пасть автомату – э, нет, не пятиалтынный, все-таки словчил в последний миг, такова человеческая природа, и потому мы неистребимы! – вложил ему в пасть гривенник. Оно презрительно зарычала, потом возник тихий но нарастающий гул, и я стоял, приговоренный еще не ведая к чему, и ждал, и Отче наш иже еси на небесах да святится имя Твое... На ладонь мою из железной утробы вывалились три пятака.

– Три? – спросил я.

– Три, – ответила она.

– А полагается два? – спросил я.

– Два, – буркнул он.

– Это вы мне тот давешний возвращаете? – спросил я.

Оно расхохоталось и отшвырнуло меня сразу через турникеты на перрон и рот залепило кляпом из «Вечерки», надвинуло на уши чью-то тухлую шляпу, скособочило кожimi-товыми каблуки, обсосало снизу отвисшие брюки, в карманы насыпало мерзких катышков – валяя, дуй через столицу, великий гражданин.

* * *

Зазвонил телефон. Конечно, Машка, кому же еще. Ну чего ей от меня нужно? Может быть, и вправду она шпионка, как нашептывал мне еще тогда в Женеве вице-президент общества по культурным связям, сам трижды «засвеченный» и никому не нужный шпион. Тогда я разыскивал ее по всем барам, а она хитро по-шпионски удидала то с одним парнем, то с другим. Впрочем, если она действительно шпионка, то за все годы нашей связи она не вытянула из меня ничего, кроме того, что женщина обычно вытягивает из мужчины, один лишь секрет, секрет жизни. Нет, Машка не шпионка, она только лишь слепое орудие в хитроумной рассчитанной на долгие годы игре сил мирового имперосиомаоумудизма.

– Внимание, – сказал я в трубку через одеяло.

– Привет, лапуля! – закричала мадмуазель Мариан Кулаго. – Опять ты залез под одеяло? Ты не представляешь, какие потрясающие я видела сегодня у Мемозова работы Кулича! По моему, он скоро обойдет Фиокса! Ты с ним знаком?

– Внимание, – сказал я. – С вами говорит электронный секретарь Самсона Аполлинариевича Саблера. Прошу записать ваши данные на магнитную ленту.

– Новые фокусы! – расхохоталась Машка. – Небось уже вылакал всю мою бутылку? Ты не представляешь, маленький, какой я тебе приготовила сюрприз! Ой, не могу удержаться, дура я дура, сегодня же вечером привезу тебе его, он весь в искрах и теплый, надеюсь, прокормишь? Знаешь, это...

– Внимание, – прервал я ее. – С вами говорит электронный секретарь...

– Дважды повторенная острота становится глупостью, – с живостью необыкновенной парировала она. – Да! Сейчас ты взвоешь! Потрясающая новость! Приехал твой кореш, Патрик Тандерджет!

Я повесил трубку и выдернул шнур телефона из розетки. Несколько минут полежал, пытаюсь унять дрожь, но тщетно: Машкин звонок сделал свое дело – все уже было ясно на сегодняшнюю ночь.

Вскочив с постели, я крепко приложился к бутылке, потом, на ходу выскакивая из дневных деловых брюк, пробежал по квартире, плюнул в экран телевизора, где все еще соревновались в отредактированном остроумии какие-то там «физтехи», вытащил из груды белья вельветовые джинсы «леви'с», из груды старой обуви свою «альтушку», дунул в нее... Саксофон обиженно завыл:

– Ты меня совсем забыл, лажук!

– Кочумай! – виновато ответил я. – Сегодня погуляешь! Инструмент плаксиво канючил:

– Думаешь, ты один такой умный, да? Тоже мне гений! Говно! Бросил товарища в вонючий угол, где кошка твоя ссыт! У меня клапана от ее мочи ржавеют. Некрасиво это, лажук. Еще Ромен Роллан сказал – «где нет великого характера, там нет великого человека»...

– Неправильно цитируешь и вообще не наглей, – пробурчал я. – Давай-ка лучше раскочегаримся!

Он тут радостно завопил петухом, заблеял, загоготал, как молодой, в предвкушении вечерней вакханалии.

«Белая лошадь» толчками продвигалась по кровотоку, глухо стучало сердце, предметы привычно менялись, теряли свой непонятный устрашающий смысл, приближались и сладко тревожили, как в юности. Дух юности, вечер ожиданий – вот первые подарки алкоголя.

* * *

Передо мной лежала ночная Москва, безмолвная и чистая. Поблескивали под фонарями сухой наезженный асфальт и стекла телефонных будок. В тихом углу возле булочной под усталой листвой шевелился, чуть пощелкивая, флаг, выпрямлялся и трепетал ровно, укромно и сокровенно, жил своей личной ночной жизнью и думал, что за ним никто не следит. Пойманный неожиданным приступом любви, я долго смотрел на флаг. Вот ведь бедолага, днем агитирует посетителей булочной, а ночью-то, оказывается, ночью-то, оказывается, ждет кого-то терпеливо, по-рыцарски...

* * *

Шел уже одиннадцатый час, когда Самсон Аполлинариевич Саблер приблизился к «Синей птичке». У входа теснились любители джаза. Кафе было набито битком, из полуоткрытых окон несея жуткий вой, это играл на своем баритоне Сильвестр. Он заглушал все звуки и перекрывал аплодисменты. Саблер постоял и послушал голос друга и посмотрел, как фаны борются у входа с дружиной.

Наконец Сильвестр кончил свое соло. Сквозь треньканье пианино донеслись крики:

– Чего они, гады, не открывают? Там еще можно стоять!

– Ребята, поднажмем!

– Говорят, Самсик приедет!

– Вы мне говорите! Самсик сейчас на Дальнем Востоке в Находке, посылку из Японии ждет!

– Ладно свистеть-то! Вон Самсик стоит!

Все обернулись и уставились на него с восхищением. Действительно, можно было восхититься молчаливой фигурой в джинсах и кожаной куртке, с футляром под мышкой, таинственной фигурой знаменитого в этих кругах Самсика.

– Самсик приехал! Ну, будет цирк! Вот свинговый парень!

– Эй, дружинники-суки, открывайте!

– Самсик, привет! Давно из Находки?

– Только что с самолета, – сказал он. – Уши еще заложены. Он увидел дрожащие глаза человека, которому больше всего хотелось выглядеть его близким другом, посвященным, своим «свинговым» малым, и протянул ему руку.

– Хелло, старик!

– Самсик! – задохнулся тот от счастья.

– Получил посылочку из Японии?

– Да, получил. Вот сакс получил.

– От Садао Ватанабе?

– Точно, от Садао.

– Самсик, да это вроде твой старый сакс, – ляпнул кто-то из-за спины.

– Новый, – возразил Самсик. – Новый, но совсем, как старый. Специальный. Старый-то у меня в Вильнюсе Элка увела.

– Я говорил! – завопил «близкий друг». – Я же говорил, что старый у тебя в Вильнюсе Элка увела! Я говорил, а мне не верили!

– Точно, увела, – кивнул Самсик и протиснулся наконец в кафе.

* * *

Синяя Птица Метерлинка. Чеховская Чайка. Стальная Птица – Там Где Пехота Не Пройдет, Где Бронепоезд Не Про-мчится. Птица – Формула – Надежда – Сил Мира Во Всем Мире. Цапля, Тонконогая Мокрая и Нелепая. Помнишь? – Глухой Крик Цапли В Котором Слышался Шелест Сырых Европейский Рощ, Тяжелый Полет Цапли В Европу Над Костелами Польши, Через Судеты, Через Баварию, Над Женовой, В Болота Прованса, Потом В Андалузию...

* * *

Сквозь дым на эстраде различался квартет – Сильвестр, Алик Фридман, Пружинкин и Рысс. Отдельно стоял еще Толстомордый Буздыкин, не играл, читал ноты. Самсик махнул ребятам, они его увидели, оборвали свою канитель и сыграли в честь вновь прибывшего первую фразу «Маршрута А».

Господи, как Самсик их всех любил. Всех, кроме идиота Буздыкина, да и к этому дураку он относился теперь в общем-то терпимо, несмотря на ту давнюю стычку из-за Чехословакии.

Тогда, в августе Шестьдесят Проклятого, они все были в Крыму и вдруг узнали, открыли было рты, чтобы устроить дикий хай и вдруг заткнулись. Они не понимали, что происходит, почему они не вопят, но рты открывали только для водки или чтобы взять в зубы мундштуки своих инструментов. Они только пили и играли, пили и играли, пили и играли и чуть не сдохли от своей страшной музыки, от водки и молчания, как вдруг прилетел из Столицы Мира Буздыкин и начал говорить гадости о чехах. Дескать, ишь чего захотели, нам нельзя, а им, видите ли, можно! У Буздыкина были личные счета к чехам: годом раньше ему здорово накостыляли в Праге за педерастические склонности. Самсик, однако, этого не учел и устроил истерику с мордобоем.

* * *

Потом пошел дождь

и вот тогда в дождь после драки мы шли пьяной разодранной дикой кодлой по территории кемпинга, а дождь хлестал, лупил без всякой пощады, бесконечно и жестоко падал на Коктебель, то ли как возмездие, то ли как отпущение грехов. Иногда я оглядывался выпученными глазами и видел сквозь струи нашу компанию, похожую на отряд средневековых мародеров. Кто там был, я и не знал точно: кажется, Левка Малахитов, кажется, Юзек Ципкин, врач из Заполярья, и маленькая чувишка в шортиках, то ли Нина, то ли Инна, то ли Марина, то ли гидролог, то ли биолог, которую мы подклеили возле распивочной цистерны и таскали за собой весь день и затаскали вконец, пока она не пропала, и академик Фокусов с двумя одесскими блядьми, и Шурик, фотограф-экзистенциалист из Львова, и кто-то еще из тех, кого, наверное, там и не было – может быть, скульптор Радик Хвастищев, может быть, хирург Генка Малькольмов, может быть, писатель Пантелей Пантелей, может быть, саксофонист Самсик Саблер, может быть, секретный ученый Арик Куницер, а может быть, даже были и те, кого действительно не было: та женщина, рыжая, золотистая, с яркой мгновенной улыбкой-вспышкой, женщина, которую я не знал всю жизнь, а только лишь ждал всю жизнь и понимал, что ее зовут Алисой, и юноша из воспоминаний, Толик фон Штейн-бок, кажется, и он был там.

Мы шли по щиколотку в вонючей грязи поселка Планерское, а мимо нас вздувшиеся ручьи волокли к морю курортные миазмы, и кувыркались в вонючих стремнинах сорванные ураганом будки сортиров и комья кала и жидкая дрисня, и неслись к нашему еще вчера хрустальному морю; на второй день после вторжения!

В кемпинге вся кодла уселась в лужу, где был мусор и репейник, и стала пить из ведра алжирское вино, которое Хуари Бумедьен отправляет нам в тех же трюмных танках, из которых высасывает горючее для МИГов, а полурасколотый транзистор все кричал слабым голосом Ганзелки:

– Не молчите! Друзья! Лева, Гена, Коля, не смейте молчать!

А мы теперь уже и не молчали, мы были дурными голосами любимую песню нашего детства «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны, в строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны».

Как вдруг мы заметили, что на нас смотрит множество глаз.

Это была длинная молчаливая очередь в душ. Она теснилась под навесом в ожидании доступа к двум ржавым кемпинговским соскам, а вокруг уже вторые сутки лил этот беспощадный дождь.

Тогда кто-то из нас, может быть, Левка, может быть, я, может быть, Юзик или кто-то еще вскочил, волосатый, в рваной, прилипшей к телу рубашке, босой и опухший и завопил:

– Что же вы, подлецы, стоите в очереди за водой, когда льет такой дождь? Что же вы, гады, хотите сказать, что не вы сумасшедшие, а мы? Значит, если вас больше, то вы нормальные, а если нас меньше, то мы психи? Эй вы, Единодушное Одобрение, трусы проклятые, смотрите, какой бесплатный внеочередной вселенский душ! Выходите, это приказ вышестоящих органов, проголосуйте единогласно и выходите, может, отмоетесь!

Девушки наши решили, что агитатора сейчас убьют, но Единодушное Одобрение молчало, глядя на нас непонимающими, слегка угрюмыми, но в общем-то спокойными глазами. Вокруг на огромных просторах Оно ехало мимо нас в автобусах и самолетах, развозило из Москвы в сетках апельсины и колбасу, сражалось на спортивных площадках за преимущества социализма, огромными хорами исполняло оратории, и звенело медью, и ковало,

ковало, ковало «чего-то железного», и ехало по Средней Европе, выставив оружие, а Дунай, змеясь, убежал у него из-под гусениц.

Здесь же перед нами Оно уплотнилось на клочке сухого асфальта под полоской жести в очереди за порцией хлорированной воды, а вокруг лупил без передышки вселенский дождь, и глухое черное небо, съевшее вершину Карадага, и половину Святой горы, и всю Сюрюккая с ее пушкинским профилем, обещало еще неделю потопа, и, значит, так было надо, и все мы, грязные свиньи, были виноваты в случившемся.

* * *

Теперь Самсик почти уже забыл драку с Буздыкиным. Давно это все было, и все уже затянулось клейкой тиной. Все уже забывается, что связано с Чехословакией, как забылись в свое время Берлин и Познань, Варшава и Будапешт и Новочеркасск.

Публика устроила Самсику маленькую овацию. Таинственный Самсик прямо с самолета из Уэллена через остров Врангеля, куда ему на вездеходе компании «Ойл Аляска» лично Стен Гетс прислал свой сакс, в подарок или на время, точно неизвестно, во всяком случае, погудит сегодня Самс, будьте спокойны, смотрите, к буфету уже пробирается заправить баки. Ну, будет сегодня вечерок, надолго запомнится!

В «Синьке» подают только сухое вино, но для Самсика у буфетчицы Риммы нашлась бутылка «Плиски». К стойке подошел Сильвестр, и перед ним Римма поставила стакан сока.

– Уже не можешь без этого? – Сильвестр укоризненно показал на коньяк.

– Наоборот, – ответил Самсик, – с этим уже могу.

Сильвестр покачал головой. В его лице вся мировая джазовая общественность укоряла беспутного Саблера. Сильвестр регулярно переписывался с Телониусом Монком, Уиллисом Кановером, Леонардом Фезером и другими светилами джаза. Он сообщал им наши новости, а в обмен получал пластинки, ноты, журнал «Даун-бит» и прочее. Соответствующие органы, конечно, просвечивали всю эту почту своими соответствующими органами, но не препятствовали, почта поступала исправно, ни один дилижанс еще не застрял на европейских опасных дорогах.

Сильвестр выглядит, как западный интеллектual. Он всегда следит за модой и всегда ей следует. Сейчас у него длинная шевелюра и свисающие на подбородок усы, но Самсик прекрасно помнит его с коротким ежиком на голове в стиле пятидесятых. Когда он дует в свою кривую трубу, кажется, что это сам сатана, но уж никак не вегетарьянец Сильвестр. Все соблазны устранил из своей жизни Сильвестр: на бифштексы не смотрит, коньяк не нюхает, чувихам только комплименты говорит. Всю жизнь ему закрыл джаз.

– Но все-таки ты пришел, лапуля, – любовно сказал Сильвестр Самсону. – Пришел, и с инструментом. Мы уже тебя и не ждали.

– День был очень дурацкий, вот и пришел, – сказал Самсик. – Одолели дурацкие воспоминания.

Слева кто-то толкнул Самсика локтем. Он повернулся – Жека Буздыкин, чушка поросячья.

– Самсик, плесни мне малость, – жалобным голосом попросил тот.

– Это так нынче подлизываются? – спросил Самсик. – Клянчишь у меня мой кровный глоточек и думаешь, что после этого все забудется?

Говоря так, он поднял бутылку и сделал вид, что раздумывает – плеснуть или нет. Буздыкин смотрел на бутылку и униженно канючил:

– Кончай, Самс, ты лабух и я лабух, какие счета между нами...

– Если тебе рыло начистили в Праге, так ведь за дело, а?

– За дело, за дело. – Буздыкин pokrылся потом.

Самсик наклонил бутылку к его стакану, но не наливал.

– А ну-ка, чушка поросячья, Расскажи мне какой-нибудь анекдот про танк.

– Про танк? – застонал Буздыкин.

– Расскажешь про танк, налью полный стакан.

– Не надо ему, – сказала Римма, – выпьет и начнет к мальчишкам приставать. Срок ведь схлопочешь, Жека. Здесь тебе не Прага.

Буздыкин закрыл глаза и быстро заговорил:

– Идет по лесу Красная Шапочка, а навстречу ей Танк. Здравствуй, Красная Шапочка, говорит Танк. Здравствуй, отвечает Крошка, а ты кто? Я Серый Волк, придушивается Танк. Если ты волк, засмеялась Красная Шапочка, то почему у тебя тогда солоп на лбу?

Он мелко-мелко затрясся с закрытыми глазами, а когда открыл их, перед ним уже был стакан с коричневой болгарской влагой.

– Никогда этого тебе не забуду, Самсик, – вдруг очень твердо сказал Буздыкин и унес полный стакан куда-то к туалету.

– За него можешь не волноваться, Римуля, – сказал Самсик буфетчице, – его не заберут.

– Серьезно? – ужаснулась та. – Он, значит, тоже из этих? Серьезно, Сильвестр?

Сильвестр скромно кивнул.

Самсик забрал бутылку и пошел с ней на эстраду. В зале послышался свист. Пока они сидели возле стойки, мальчишки и девочки, посетители «Синьки», успели уже достаточно поиграть в Гринич-Вилледж и теперь жаждали новой встряски. Самсон и Сильвестр вместе – ого! – из этого что-нибудь получится...

Самсик, старый Самс, посмотрел в зал на публику. Девчонки все были в джинсах и маечках, одна халда таскала по полу шлейф старинного платья и потому не присаживалась, чтобы всех поразить, еще одна, узкоглазая, курносая, была вся в золоте, серьги, браслеты, монисто – откуда такая богатая взялась?

Из ребят иные сосали трубочки и хохлились, сумрачные интеллектуалы, на других сверкали пуговицы блейзеров и вели они себя соответственно – плейбойски, были и «дети цветов», но, конечно, в более умеренном виде, чем их лондонские братья, в более терпимом для московской милиции. В зале сидели и два-три комсомольских вожака в их установившейся уже униформе – добротный костюм, белая рубашка, галстук, клерки молодежного министерства. В последнее время комсомол из злейшего врага стал снисходительным покровителем джаза.

Самсик минуту или две смотрел в зал, подмигивал знакомым, расшаркивался перед девочками, потом махнул всему составу рукой – поехали.

Пружинкин, как всегда, начал со своего любимого «Take five», зал зашумел, Самсик дунул пару раз в свою дудку и вдруг закрыл глаза – отчетливо и ярко, как кинофильм, вспомнил свой дебют.

Это было в ноябре 1956 года на вечере Горного института в Ленинграде в оркестре первого ленинградского джазмена Кости Рогова.

Тогда в танцзале стояли плечом к плечу чуваки и чувихи, жалкая и жадная молодежь, опьяневшая от сырого европейского ветра, внезапно подувшего в наш угол. Бедные, презираемые всем народом стилиги-узкобрюшники, как они старались походить на бродвейских парней – обрезали воротнички ленторговских сорочек, подклеивали к скороходовским подошвам куски резины, стригли друг друга под «канадку»...

Костя Рогов снял пиджак и остался в своей знаменитой защитного цвета рубашке с наплечниками и с умопомрачительным загадочным знаком над левым нагрудным карманом SW-007.

– Сегодня, мальчишки, начинаем с «Sentimental journey»! – сказал он.

– Между прочим, здесь типы из Петроградского райкома комсомола, – предупредил осторожный ударник Рафик Тазиддинов, «Тазик».

– Плевать! – Рогов засучил рукава словно собирался драться, а не играть на пиано. – Слабаем «Сентиментл», а потом «Lady be good», а потом рванем «Бал дровосеков», и гори все огнем! Самс, за мной! – Он подтащил меня за руку к рампе и закричал в зал: – Тихо, ребята! Всем друзьям нашего оркестра представляю нового альт-саксофониста. Самсон Саблер! Не смотрите, что у него штаны мешком, – он хороший парень! Можете звать его просто Самс!

Зал зашумел. Я остался один и сжал саксофон. У меня уже текло из-под мышек, лицо покрылось пятнами, и колени затряслись. Нет, не сыграть мне «Сентиментл», я сейчас упаду, я еще пердну, чего доброго... Нужно испариться, пока не поздно, кирнуть где-нибудь в тихом месте, и все, ведь нельзя же стоять вот так одному, когда столько девочек сразу смотрят на тебя.

Я сделал какое-то суетливое полубоморочное движение, как вдруг увидел в нескольких метрах от себя, в толпе, длинные светлые, грубо обрезанные внизу космы, падавшие на вздернутые груди, и маленькие глаза, смотревшие на меня с необычным для наших девочек выражением, и полуоткрытый рот... это была она – Колдунья, Марина Влади, и я вдруг напряжился от отваги и неожиданно для себя заиграл.

О, Марина Влади, девушка Пятьдесят Шестого года, девушка, вызывающая отвагу! О, Марина, Марина, Марина, стоя плывущая в лодке по скандинавскому озеру под закатным небом! О, Марина, первая птичка Запада, залетевшая по запаху на оттепель в наш угол! Стоит тебе только сделать знак, чувиха, и я мигом стану парнем, способным на храбрые поступки, подберу сопли и отправлюсь на край света для встречи с тобой. О, Марина – очарование, юность, лес, голоса в темных коридорах, гулкий быстрый бег вдоль колоннады и затаенное ожидание с лунной нечистью на груди.

Я заиграл, и тут же вступил Костя, а за ним и весь состав, а она подпрыгнула от восторга и захлопала в ладоши – все тогда обожали «Сентиментл».

*А у нас в России джаза нету-у-у,
И чуваки киряют квас... —*

завопила в углу подвыпившая компания хозяев бала – горняков. Теперь было ясно – скандала не миновать.

Тогда еще запрещалось молодежи танцевать буржуазные танцы, а разрешались только народные, красивые, «изячные», патриотические экосезы, менуэты, па-де-патенеры, вальс-гавоты. В чью вонючую голову пришла идея этих танцев, сказать трудно. Ведь не Сталин же сам придумал? А может быть, и он сам. Наверное, сам Сталин позаботился, сучий потрох.

В последнее время, увы, гнилые ветры оттепели малость повредили ледяной паркет комсомольских балов, и в разводья вылез буржуазный тип с саксофоном, то есть прыщавый Самсик, стриженный под каторжника, в нелепо обуженных штанах с замусоленным рублем в кармане, двадцатилетний полу-Пьеро, полухулиган, красивый Самсик собственной персоной.

Дух непослушания, идея свободы мокрой курицей пролетела от стены к стене, и все затанцевали, и закачались люстры, и плюшевые гардины криво, словно старушечьи юбки, сползли с окон – в зал перли безбилетники.

Мы тогда еще почти не знали бибоба, только-только еще слышали про Паркера и Гиллеспи, мы еще почти не импровизировали, но зато свинговали за милую душу.

Вдруг я увидел, что моя Марина Влади танцует с одним фраером в длинном клетчатом пиджаке, и вспомнил, что у фраера этого есть машина «Победа», и прямо задрожал от рев-

ности и обиды, а сакс мой вдруг взвыл так горько, так безнадежно, что многие в зале даже вздрогнули. Это был первый случай свободного и дикого воя моего сакса. Костя Рогов мне потом сказал, что у него от этого звука все внутри рухнуло, все органы скатились в пропасть, один лишь наполнился кровью и замаячил, и Костя тогда понял, что рождается новый джаз, а может быть, даже и не джаз, а какой-то могучий дух гудит через океаны в мою дудку.

*Песня Петроградского сакса образца осени
Пятьдесят Шестого
Я нищий,
нищий,
нищий,
И пусть теперь все знают – я небогат!
Я нищий,
нищий,
нищий,
И пусть теперь все знают – у меня нет прав!
Пусть знают все, что зачат я в санблоке, на тряпках
Двумя врагами народа, троцкистом и бухаринкой,
в постыдном акте,
и как я этого до сей поры стыжусь!
Пусть знают все, что с детства я приучался обманывать
все общество,
Леясь плющом, и плесенью, и ржавчиной
К яслям, детсаду, школе, а позднее к комсомолу
Без всяких прав!
Я нищий,
нищий,
нищий,
И пусть теперь все знают, что
Я девственник в обтруханных трусах!
Я девственник, я трус с огрызком жалким, но,
О Боже Праведный, я не гермафродит!
Мужчина я! Я сын земли великой!
Я куплен Самсиком на бешеной барыге у пьяного слепца
За тыщу дубов, которые собрал он донорством
и мелким воровством.
Но, Боже Праведный, мне двадцать лет, а скоро будет сорок!
Я тоже донор, и кровь моя по медицинским трубкам
Вливается в опавшие сосуды моей земли!
И пусть все знают – я скорее лопну, чем замолчу!
Я буду выть, покуда не отдам моей искристой крови,
Хотя я нищий,
нищий,
нищий...*

* * *

Я сам тогда перепугался, сил нет, и вдруг заметил, когда последние пузыри воздуха с хрипом вылетали из сакса, что в зале никто не танцует, а все смотрят на меня: и Марина Влади, и ее клетчатый фраер, и все пьянчуги-горняки, и все молчат, а из глубины, расширяясь и устрашающе заполняя вакуум, прокатилось гусеницей:

– Прекратить провокацию!

Тогда в глазах у меня вспыхнули солнечные полосы и квадраты, прозрачный сталактит и черное пятно воспоминаний, я покачнулся, но Костя Рогов поддержал меня объятием и выплюнул в зал одно за другим наши полупонятные слова:

– Целуй меня в верзеху! Ваш паханок на коду похилил, а мы теперь будем лабать джаз! Мы сейчас слабаем минорный джиттер-баг, а Самсик, наш гений, пусть играет, что хочет. А на тебя мы сурляли, чугун с ушами!

И мы тогда играли. Да разве только в джазе было дело? Мы хотели жить общей жизнью со всем миром, с тем самым «свободолюбивым человечеством», в рядах которого еще недавно сражались наши старшие братья. Всем уже было не вмоготу в вонючей хазе, где смердил труп «пахана», – и партийцам, и народным артистам, и гэбэшникам, и знатным шахтерам, всем, кроме нетопырей в темных углах. И мы тогда играли.

* * *

Рассказ о юности С.А.Саблера, записанный московским писателем П.А.Пантелеем по телефону

В тот вечер Самсик, аденоидный гений с просроченной пропиской, попал под арест в штаб боевой комсомольской дружины. При обыске было обнаружено вот что: расческа, забитая перхотью, польский журнал «Попросту» с рассказом Марека Хласко, два сырых пельменя, завернутые в носовой платок, пожелтевшая от времени пачка презервативов, донорская книжка и письмо из Парижа от Марины Влади.

В жуткой тишине комсомольского штаба письмо было зачитано вслух.

*Месье Самсону Саблеру
через мадам Резник Фриду Ицхоковну
проспект Щорса, 14, Ленинград*

Мой милый! Ты зовешь меня на целину. Увы, я немного опоздала, чтобы воспользоваться твоим приглашением. Однако не думай, что традиции русских женщин забыты в Париже. Я готова последовать за тобой в любую дыру – хоть в Реюньон, хоть в Тананариве, хотя бы в Марсель.

Скоро пришлю тебе кое-что из одежды, а ты при случае отправь мне немного консервов.

Целую, твоя Марина.

– Комментарии излишни, – сказал главный дружинник с гадливой улыбочкой, которая всегда появлялась у него при соприкосновении с классовым врагом.

– За что меня задержали? – спросил Самсик.

– Вот за это и задержали. – Начальник показал на разложенное перед ним имущество музыканта.

– Так ведь этого же не видно было, когда я шел, – озадаченно проговорил Самсик.

– Вы очень умный, Саблер! Очень умный, да? – кривым от гадливости и гнева ртом закричал начальник, при каждом слове вздергивая голову: волосы его все время распадались

на два крыла, а ему хотелось, чтобы они гладко облегали голову и придавали вдохновенный вид.

Штаб дружины был набит девчонками и мальчишками с Невского проспекта, и начальник был здесь хозяином, ночным властелином. По его приказу разрезали крамольные узкие брюки, стригли волосы, отбирали «стильные» галстуки, фотографировали для окон сатиры всех этих, «кто нам мешает жить». Не щадил начальник своих пленников, жестоко мстил им за идейную незрелость, а также за собственную косолапость, за усиленную сальность своей кожи, за неприязнь к нему женского пола, за слабые свои успехи в школе рабочей молодежи.

– Ну-ка, Витюша-Валера, научите Саблера родину любить! Длиннорукий лекальщик и пружинистый инструментальщик взяли Самсика в оборот. Юноша завизжал, отстаивая свою честь. Начальник откинулся в дореволюционном кресле, прикрыл глаза, сладко вообразил себе активное следствие над Саблером, допрос такого рода, о каком однажды ему рассказывал шурин, служивший в соответствующих органах.

– Опять ты, Крюшкин, чудишь, – недовольно сказал ему прикрепленный к штабу сержант регулярной милиции.

– Забыли про Будапешт, сержант, – сказал начальник, не открывая глаз. – Вот такие сопляки и устроили там всю заваруху.

Он вдруг вскочил и завопил, не открывая глаз, прямо в лицо Самсика, повисшему на руках двух бойцов:

– Откуда у тебя письмо Марины Влади, гад?

– Прислала, – прохрипел слабеющий Самсик.

– Может, ты с ней жил? – жутко захохотал Крюшкин. Глаза закрыты.

В штабе грянула тишина. Все присутствующие, и задержанные, и комсомольская охрана, с отчаянным внутренним трепетом ждали ответа.

– Мы любили друг друга, – прошептал, роняя голову на грудь, Самсик.

– С иностранной подданной? – тихо пылая из-за плотно сомкнутых век, спросил Крюшкин.

Ужас пронзил Самсика. Да ведь действительно она иностранная подданная! Нет, не просто тонкая тень на закатной пленке озер, не узкоглазое лицо на песке, она – ино-странная подданная! Это по Куприну она из Белоруссии колдунья, русская подданная, а по фильму она хоть и дикая, хоть и лесная, но иностранная подданная... Да, теперь он уличен, и терять больше нечего.

– Угу, с иностранной подданной, – прошептал он.

Крюшкин с закрытыми глазами сделал головой несколько кругообразных движений непонятного смысла. Самсика вдруг охватила отвага.

– У-у-у! – загудел он. – Поднимите ему веки! Это не Крюшкин, ребята, это Вий!

Веселый хохот вдруг потряс бывшую драгунскую гауптвахту в стиле ампир, нынешний штаб боевых комсомольских дружин в стиле ампир. Смеялись и задержанные, и охрана, и даже прикрепленный сержант. Оказалось, что все знакомы с гоголевским персонажем.

– Витюша-Валера, пожалуйста, не делайте мне больно, – под шумок попросил Самсик, и лекальщик с инструментальщиком тут же прекратили болевое воздействие и охотно его отпустили.

– Вий! Вий! – Штаб хохотал, а Крюшкин метался под ампирным потолком, словно всамделишный гадкий демон из кальсонно-бязевого царства.

– Комсомольцы вы или нет? Русские вы люди или нет? – взывал он. – Иностранную подданную он любил, слышите!

– А что же, иностранная подданная разве не баба? – петушком вскинулся обнаглевший от успеха Самсик.

– Баба! Баба! – восторженно закричали вокруг, а чувихи с Литейного даже пустились в пляс, словно обезьянки на микропорке. Кто-то высадил окно, и запах большой невисской воды, перемешанной со снегом и со всем сливом великого города, влетел в штаб.

Зазвонил телефон. Сержант снял трубку, послушал, сдвинул фуражку на нос и скучающим тоном сказал Крюшкину:

– Районный прокурор Рогов звонит. Оказывается, ты, Крюшкин, артиста задержал. – Он передал трубку в трясущиеся руки Крюшкина, и Самсик услышал издали голос Костинного папаша:

– Алло, как вас там? Немедленно освободите артиста Самсона Саблера.

– Слушаюсь, товарищ Рогов. Так точно, товарищ Рогов. Будет сделано, товарищ Рогов. Крюшкин положил трубку, снова закрыл глаза и отодвинул от себя имущество Самсика.

– Пожалуйста, товарищ Саблер, возьмите ваши вещи и отправляйтесь по месту жительства.

– На проспект Щорса? – весело спросил Самсик, распахивая по карманам свои постыдные раритеты. – Или на Декабристов? А может, в Четвертую роту похилиять, товарищ Крюшкин?

Голос Крюшкина в ответ прозвучал, как голос чревоушателя, больного брюшным тифом:

– Лучше на Щорса идите. До Декабристов не доберетесь, до роты и подавно, на Садовой еще перехватят, а там другой район, и прокурор другой, сами понимаете...

– Спасибо, – поблагодарил Самсик и протянул начальнику все, чем был богат, пару сырых пельменей на носовом платке. – Угощайтесь.

Крюшкин, всхлипнув, съел один пельмень, а от второго лишь деликатно откусил. Самсик даже потом покрылся от жалости к этому кривоzubому паренку, с лицом, покрытым сонмищем угрей, которых многие принимали за угольную пыль паровозного происхождения.

– Эх, Крюшкин вы мой, дитя человеческое, – прошептал он.

– У меня, товарищ Саблер, сестра-горбунья на руках, – тут же соврал Крюшкин. Самсик вообразил этого серенького маленького Крюшкина с капризной толстой горбуньей на руках – это же ж Достоевский же!

– Крюшкин... – Он положил ему руку на плечо. – Крюшкин ты мой... Ребят-то отпустишь?

Он кивнул на растроганных, молчаливо топчущихся «стиляг».

– Конечно, отпускаю, – смиренно произнес Крюшкин. – Вот только стихотворение им прочту, может, что-нибудь поймут. Вы идите, товарищ Саблер, а я им стихотворение прочту.

Он вышел на середину и, по-прежнему не открывая глаз, мирно и задушевно проговорил:

– Ребята, девчата, вот послушайте стихотворение. Это он, я узнаю его, в блюдечках-очках спасательных кругов...

У Самсика под носом стало мокро от волнения, и он вышел из штаба, потому что знал это стихотворение наизусть и не хотел лишний раз расстраиваться.

* * *

...К середине ночи нарком Киров уступает свой проспект прежним хозяевам, и весь Конногвардейский затихает, и во всех его зеркальных окнах отражается нечто таинственное, уж не кирасы ли, не кивера ли?

По чистому звонкому асфальту я пересек улицу, покопался в мусорной урне, нашел окурок «Авроры», привалился спиной к чугунной решетке и закурил. Чугунные гоплиты в шлемах с гребнями сжимали копья за моей спиной, а в это время в штабе комсомольских дружин на Невском артистически жестикулировал Крюшкин, и задумчиво смотрели на него сержант, стилиги и рабочая молодежь.

«Ведь можно же по-человечески же, вот же, можно же», – помнится, подумал я о Крюшкине и, помнится, за-плакал.

– Ну что ты вечно копаешься в мусоре, Самсик? – услышал голос, полный нежной насмешки. – На, кури!

Рядом со мной стояла и протягивала полную пачку «Авроры» собственной персоной Марина Влади в туго перехваченном по талии плаще французской работы.

– Как ты здесь оказалась? – запинаясь, спросил я.

– Я тебя ждала. – Она усмехнулась и пошла к площади Льва Толстого, легко постукивая немыслимо тонкими каблучками. Удивительно, но были мы совсем одни на всем Конногвардейском, и я один любовался ее походкой, и ветер с Аптекарского острова шевелил ее соломенные волосы только в мою честь.

– Ты ведь рыжего чувиха? Рыжего, клетчатого? Того, с «Победой»? – спросил я, волоча за ней левую ногу, чтобы не особенно шлепала расслоившаяся в эту тревожную ночь подошва.

– Это он так считает, – ответила она печально, – а на самом деле я твоя чувиха, Самсик, твой кадр.

– Как тебя зовут? – спросил я, задыхаясь; вот именно – задыхаясь.

– Арина Белякова.

– А где ты учишься?

– Рядом, в медицинском.

Боги, боги греческие и римские!

– А где ты живешь?

– В Бармалеевом переулке. Знаешь?

Боги, боги петербургские, невские и чухонские!

– Хватит тебе ногу тянуть, Самсик! Шлепай своими опорками сколько хочешь. Все равно я тебя люблю. Ну, обними меня за плечи, не бойся.

...Между тем, пока Самсик обнимал крепкое, немного острое плечо Арины Беляковой, обстановка в штабе комсомольской дружины резко переменялась.

Распавшийся от стихов Крюшкин бил теперь металлическим голосом в цель – в ампирную люстру:

*В наших жилах кровь, а не водица!
Мы идем сквозь револьверный лай!*

Дружинники с новой энергией кромсали брюки стилигам, выстригали на их головах карательные полосы и тонзуры, фотографировали всех этих «кто нам мешает жить». Сержант, тихо матерясь, пил в углу чай с еврейской пастилой.

...А в Бармалеевом переулке возле дома Арины Беляковой царило странное оживление. Жильцы покидали свой дом, гранитную твердыню с колоннами черного мрамора, бывшее посольство бухарского эмира в Санкт-Петербурге.

– Вредительство, – разъярял обстановку домоуправ, человек старой закалки. – Никак они нам, товарищи, не дают спокойно жить и строить. Ну, ничего, сейчас приедут, разберутся.

Жильцы, однако, возражали, что он опять не тех вызвал, что вызывать надо не «товарищей», а обыкновенную пожарную команду.

Дом, собственно говоря, пока не горел, но все его коммуникации – электрические провода, телефонные, радиотрансляция, газ, канализация, паровое отопление – были раскалены до последней степени, светились сквозь стены всеми цветами спектра, рисуя в глухой ночи Бармалеева переулка удивительно красивый потрескивающий каркас. Дом был готов для любви.

– Вот удача, – прошептала Арина Белякова, – предки теперь до утра на чемоданах просядут.

Она скользнула за афишную тумбу, потянула Самсика, пробежала вместе с ним открытое пространство, пролезла во двор и припустила к черной лестнице.

Самсик бежал за ней – что же ему оставалось делать? – бежал за мелькающей в темноте белой гривой, похожей на лисий хвост, бежал с заячьим сердцем... заяц преследовал лису, обмирая от страха.

Он прекрасно понимал, куда идет дело – к роковому моменту, к скандалу, к катастрофе, к разоблачению! Эта медичка не ограничится объятиями и поцелуями, блаженным трепетом, который в их кругу назывался «обжимоном» и был для Самсика пределом мечтаний. Он даже умел целоваться, наш бедный Самсик, он целовался «клево» (одна чувиха так и сказала: «Ты клево целуешься, Самсик»), то есть он даже умел в дьявольском порыве проталкивать свой язык сквозь зубы очередной жертвы (их было три) и щекотать языком полость рта. Дальше душа его не проникала, и, когда друзья лабухи начинали говорить о «палках», о «дураках под кожей», Самсик мог лишь цинически понимающе усмехаться, а душа-то его бродила, как коза по опушке непостижимого и страшного леса.

Иногда ночью, просыпаясь на раскладушке под столом у Фриды Ицхоковны или на тюфячке возле газовой плиты в Четвертой роте, Самсик ощупывал свое тело и с гордостью убеждался в своей мощи, в своей способности к совокуплению с лицами противоположного пола, но само это слово «совокупление» вдруг вселяло в него непонятное отчаяние, физическая суть явления казалась ему чудовищной, невозможной, и гордый его вымпел обвисал мокрой тряпочкой.

Вот и сейчас, чуть не плача, он становился посреди темной комнаты, сквозь обои и ковры которой просвечивали раскаленные провода, а под окном пылал огненной гусеницей радиатор отопления.

– Ох, вот мы и одни, – прошептала девушка.

– Ох, да что же ты так стоишь?

– Ох, расстегни мне вот здесь...

– Ох, Самсик, милый...

я поймала тебя не бойся не бойся я вовсе не блядь я тоже еще ничего не умею почти ничего как и ты потрогай меня вот здесь возьми вот это можно я тебя потрогаю не бойся маленький не убегай.

Она его трогала длинными пальцами, трогала долго и терпеливо. Она была голой, просвечивала сквозь какую-то паутинку, в раскаленном сумраке аварийного дома соски ее грудей сверкали, словно чьи-то лесные глаза. Он вдруг забыл страшное слово «совокупление», забыл и сам себя, Самсика Саблера, забыл и Марину Влади, и Арину Белякову, и джаз, и Сталина, и Тольку фон Штейнбока, и, все это забыв, взял женщину и ринулся вместе с ней с крутизны в темный тоннель, загибающийся, как улитка.

Со стороны все это выглядело довольно смешно: бестолковые тычки, сорванный хрип с повизгиваньем, чмокание влажной кожи.. но вот все соединилось, все сошлось, и через какое-то время, показавшееся нашему герою бесконечным, а на самом-то деле очень непродолжительное, Самсик пришел в себя уже муш-ш-шиной.

Она еще изнемогала в стороне, кусала подушку, что-то бормотала, смиряя свою потревоженную плоть, и вдруг увидела – он уже сигаретой дымит! – и разозлилась – тоже мне любовник! – но потом вспомнила о своей миссии и ласково ему улыбнулась – кури, кури, малыш!

Миссия ее была очень важной, хотя и немного смешной для европейской девушки. Вот уже полгода после выхода фильма на здешние экраны она разгуливала по мокрым тревожным улицам этого города, откуда когда-то бежала с Институтом Благородных Девниц, и неожиданно, всегда неожиданно подходила к местным самсикам, замороженным сталинским выкорышам, и уводила их с собой в аварийные дома серебряного века, учила их любви, являлась им как незабываемый образ свободы.

* * *

Он бросил сигарету и полез целоваться.

– Хватит, Самсик, – мягко сказала она, – иди домой. У меня завтра зачет по терапии, надо хоть немного поспать.

Он вылез из постели и прошелся по комнате, с благоговением притрагиваясь к вещам своей возлюбленной: к толстым медицинским справочникам и атласам, к ее портфелю и белому халату, к фонендоскопу, малой змейкой свернувшегося на столе.

– Любимая, единственная на всю жизнь, – сказал он вдруг такое.

Она расхохоталась:

– Самсик, осторожно, не притрагивайся к стенам – замкнешься!

В двух сантиметрах от его плеча пульсировала зеленым огнем толстая – в кулак – энергетическая коммуникация.

– Ты моя вода, высокие сосны над головой, эвкалипты, секвойи и звезды в ветвях! – завопил ошалевший от любви Самсик, дернулся и тут же замкнулся. Ток пронзил весь его скелет, прямо хоть анатомию изучай. Он не мог двинуться с места, не мог сказать ни единого слова, но лишь стоял, и потрескивал, и светился, а она хохотала, как безумная.

Смех ее был очень обидным, смех сучки, иначе не назовешь. Сучка, сучка такая, думал он, но ничего не мог сказать: дьявольское электричество бушевало в его костях.

Она вдруг выпрыгнула из постели, подбежала к нему и закрыла ему весь свет, сначала своим широким лицом с чуточку грубоватой русской кожей, а потом своими глазами, похожими и в самом деле на ночное небо.

– Самсик-дурачок, никакая я тебе не единственная. У тебя еще столько единственных впереди: и моя подружка Брижит, и Клавка Кардинале, и Сонька Лорен, и толстуха Анита, и Моника-интеллектуалка, и Джулия-недотрога... ты еще разведешь пары, маленький Самсик, только не бросай своего сакса, и всем своим так передай – пусть не бросают своих инструментов! Теперь проваливай – напряжение слабеет.

И впрямь, коммуникации меркли, остывали, а за окнами уже голубел рассвет. Арина Белякова надела халатик, а Самсик быстро причесался на пробор.

– Уходи в окно, – сказала Арина Белякова. – Слышишь в коридоре шаги? Кажется, товарищи явились.

В коридоре действительно слышались энергичные шаги, крепкий, но ненавязчивый стук, взволнованный мужской голос:

– Откройте, пожалуйста! Государственная безопасность! В доме скрывается преступник! Будьте любезны, откройте!

– Какие вежливые, – сказала Арина Белякова. – Как во времена Дзержинского.

– Это хохмы твоего Рыжего-Клетчатого, – пробурчал Самсик.

– Может быть, – сказала она. – А вдруг действительно гэбэ?

– Однако я не преступник! – крикнул он.
Стук в дверях усилился.
– Все-таки, где я тебя снова увижу? – спросил Самсик уже с подоконника.
– Знаешь столовку возле больницы Эрисмана? Я там каждый день рубаю с двух до трех. Отваливай, чувак! Пока!

* * *

Переоценка ценностей. Четырнадцать лет спустя после этой ночи, описанной Пантелеем с чужих слов по телефону, Самсон Аполлинариевич Саблер в кафе «Синяя птица» нащупал новую тему. Переоценка ценностей, недооценка ценностей – так и называлась эта тема.

Они уже сыграли несколько американских пьес, и композицию Сильвестра «Взгляд мглы», и хулиганскую шараду Пружинкина «Любовный треугольник», и вроде все были в ударе, в свинге – и артисты, и публика, но каждый понимал, что вечер пока еще не состоялся.

В перерыве квинтет спустился с эстрады. Сильвестру подали блюдо цветной капусты. Пружинкин взялся кадрить долгополую оторву, и, кажется, получалось. Рысс стакан за стаканом дул цинандали. Платили какие-то физики из Новосибирска, и барабанщик старался побыстрее на дармовщинку «поймать кайф».

* * *

Самсик сел за столик к азиатке. Милую девочку звали Клара, папа ее был поваром в Самарканде, отсюда и богатство: камни в ушах и на пальцах, золото на груди. Она поглаживала Самсика по мокрой спине, что-то бормотала по-узбекски, но он никак не мог оторваться от своего сакса и тихо наигрывал новую тему, краем глаза все же замечая, что у ребят уже ушки на макушке.

Переоценка ценностей – недооценка ценностей. Я переоценил, тихо наигрывал он. Я недооценил, тихо наигрывал он. Что-то росло в его душе, что-то близкое к восторгу и ясному зрению, но он еще не знал, чем это обернется – молитвой или буйством; нежность и злость перемешивались сейчас в саксе, как бензин и воздух перемешиваются в карбюраторе автомобиля.

– Что ты играешь? – спросила вдруг с тревогой дочь самаркандского вора.

– Самс! – громко позвал Сильвестр. Цветная капуста, видно, застряла у него в горле. – Нащупал что-нибудь?

– Что-то клевое, отец? – заерзал на стуле Пружинкин.

Саблер пожал плечами, но тут перед ним появилась мясистая потная физиономия Бuzдыкина.

– А я знаю! – заорал он на все кафе. – Я знаю, что нащупал этот вшивый гений! Переоценка, Самсик, да? Переоценил, да? Недооценил, да? Ну, гад, давай, играй! Ну, Самсик, снимай штаны!

Он чуть не плакал от каких-то своих собачьих чувств, но гадко подмигивал Самсику, словно был с ним сообщником по грязному делу.

Вот чудеса, подумал Самсик, стукач, педрила, алкоголик понимает меня и мою музыку лучше всех друзей. Он обвел взглядом все кафе и вздрогнул. Показалось, что в глубине, из-за стойки гардероба, глянули на него дико знакомые жгучие маленькие глазки, укрытые складками пожухлой кожи, и тошнотворный запах пережаренного нерпичьего жира прилетел сюда неизвестно как через долгие годы и сжал ему горло.

– Хочешь послушать, стукач? – зло спросил он Бuzдыкина. – Запишешь?

– Да уж попробую. – Тот вытер потные руки о задницу. – Будь спок, запишу, куда следует.

Самсик вспрыгнул тогда на эстраду и вызывающе резко заиграл начало темы, прямо в харю старого палача, туда, за шторы гардеробной, на Колыму. Глазки – горячие вишенки – исчезли. Пропал и запах. Друзья побросали свою жратву, выпивку и девчонок, бросились к нему на помощь.

* * *

Переоценка ценностей

*я переоценил
я недооценил
закаты и рассветы над городами в перспективах
улиц
лимонные лиловые бухие
верблюжьи морды
плоские эскадры далеких миноносок
вкупе с ветром качающим над маленькой Европой
слепые фонари под проводами
с трамвайным скрежетом
со стуком каблучков
с младенцем вкупе
жирным мамлакатом в купели цинковой
под солнцем сталинизма
под солюксом досмотров выраставшим
и нашей юностью зовущимся
я переоценил
я недооценил
библиотечный запах
развалы книг и Анатоля Франса
и ангела скользнувшего в проходе за буквой Щ
к началу алфавита
скромнейшим шагом так подслеповато скользящего
и в лабиринте этом с особым запахом
так волновавшим сердце
все эти тысячи совокуплений
полет с жужжаньем с жадностью желаний
нежнейшие контакты
сборы меда
и пополнение знаний багажа
я переоценил
я недооценил
все дриблинги и пасы могучие броски удары сбоку
удары снизу
лобовые свинги
захват клещами
болевого приемчик*

полет в пролет на уголь
сигарету прижатую к щеке как веский довод
что прижимает к стенке оппонента в ученом споре
призрак баррикады
и юношей-ровесников
уроки
дававших танкам
въехавшим под утро в их город
в молодость
и в память навсегда
я переоценил
я недооценил
ректификат колымский
Вдову Клико и самогон рязанский
коньячность звезд
латунные медали
останки раков – поле Куликово
и кружки с шапками как семь богатырей
и локти дружбы
дружбы алкогольной
совместное похмелье муки ада
которые конечно в коллективе с друзьями теплыми
нетрудно пережить
я переоценил
я недооценил
синедрион свирепый под куполом лазурным
и колонны секвойи белые
холодные секвойи
к секвойе ты взывал
взывай к акулам
акулы рты и стертость подбородков
так удивившая перед лицом зверинца растерянность
друзей
и рев зверинца
ату-ату-ату их за границу
в психиатричку
в гроб
а нам а нам икорки
мясца послаще и жиров и соков
пусть через трубку в зад
пусть в ноздри в уши
в поры
лишь только бы текло
я переоценил
я недооценил
Унгены Брест-Литовский Чоп Галицийский
борец по-белорусски
швейцарский харч и аргентинский хмель
квартал Синдзюко в шуме малохольном

*подвальчик Это
и тебя Чиеко
мех обезьянки и ее уловки
гуд лак
и пароксизм патриотизма в буфете в туалете
на вокзале
под мокрым снегом в колее белазов
под золотом Великого Ивана
под сокровенным полосканием флага
за булочной в укромном уголке
и вышки тень и глазки...
глазки сталинской свиньи
проклятые зловонные солоп истории вам в орденоносные пасти солоп
истории на ваши традиции
на ваши рега-рега-рега-рега-рега-рега-кргуиши-кргуиши-кргуиши-
фтирррр-гrrrr-хrrrr-сссуки!
я переоценил
я недооценил
свою ночную лампу
запой иль схиму
радость покрыванья бумаги белой червячками знаков
жуками иероглифов морскими
кириллицы плетнями
и решеткой готической латинницы
и лестницу в ночи
все утешенья ночи
таинственный в ночи проход по парку
сквозь лунную мозаику террас
прикосновенья рук
до криков шантеклера
прикосновенья щек
и шепот и молчанье
таинственность в ночи...*

Как многозвучна ночь!

* * *

Неожиданная концовка «как многозвучна ночь» подкосила ноги. Самсик упал на четвереньки и, оставляя на эстраде мокрые следы, еле-еле уполз за рояль, спрятался за задницей Рысса и там заплакал от гордости и счастья.

Ребятам, его партнерам, показалось, что плачет он от стыда, и они постарались после его отступления всячески замазать, замурыжить, заиграть его тему. Им было неприятно, что их друг оказался перед всей публикой со спущенными штанами, и они старались своей виртуозной техникой покрыть его позор. Наконец весь комбо заиграл сразу, взвыл, загрохотал, Пружинкин еще взвизгнул для отвода глаз, и наступила кода. Тогда Самсик вылез из-за рояля и пошел к своей азиатке. Отовсюду на него смотрели недоумевающие глаза: такой музыки

здесь еще никто не слышал. Буздыкин, торжествующе ухмыляясь, втолковывал что-то Александру Пластинкину, высокопоставленному работнику ЦК комсомола.

Едва Саблер сел, как Пластинкин подошел к нему.

– Привет, Самсик, – сказал он. – Тут Буздыкин, прямо скажем, странновато трактует твою композицию. Какие-то младенцы сталинизма ему мерещатся, какие-то совокупления, ругательства, какие-то баррикады, сортиры... вздор какой-то...

– Что ты хочешь, Шура, – сказал ему Самсик, печально улыбаясь, – такая у него работа. Такое у него совместительство, я хочу сказать.

Пластинкин тонко усмехнулся, уж он-то знал, какое у Буздыкина совместительство.

– А я, Самсик, трактую твою пьесу как борьбу с мещанством, – осторожно сказал он. – Что ты на это скажешь?

– Именно борьба с мещанством, Шурик, – подтвердил Саблер. – Самая настоящая борьба с мещанством.

Пластинкин облегченно вздохнул, хлопнул его по плечу и ушел. Самсик прекрасно понимал Пластинкина: ему ведь тоже надо отчитаться за всю эту псевдоджазовую вакханалию. Борьба с мещанством, лучше не придумаешь.

– Как тебе не стыдно, Самсик, все это играть? – зашептала тут Клара, слегка пощипывая Самсика за ляжку.

А ведь и в самом деле стыдно, подумал он теперь, когда немного поостыл. Никакой ведь это не джаз и не музыка даже. Власть все-таки права – «русских мальчиков» нельзя никуда пускать – ни в джаз, ни в литературу, везде они будут вопить селезенкой и харкать обрывками бронхов и джаз превратят в неджаз и политику в неполитику. Нет, власть мудра, нет-нет, ей-ей...

– Ты умеешь курить сигары? – спросил он напрямик азиатку Клару.

Она улыбнулась ему глазами, очень откровенно, а потом смиренно потупилась, покорная, видите ли, рабыня, женщина Востока. У нее был сильно выпуклый слегка кретинический лобик, два-три крохотных прыщика в углах рта.

– Пошли!

* * *

ABCDE

Самсон Аполлинариевич Саблер вышел из кафе в переулок и не успел глотнуть ночного московского воздуха, как увидел стоящую напротив под сильным фонарем огромную грязную «Импалу» и в ней свою любовницу Машку и своего американо-английского друга Патрика Тандерджета.

«Нашли все-таки меня, буржуи проклятые», – подумал он.

– Лапсик! Лапсик! – завизжала Машка и выскочила из машины. Она была в своих неизменных джинсах и красной рубашке, завязанной калифорнийским узлом под грудью. Между рубашкой и джинсами виднелся потрясающий Машкин живот. Глазища Машкины танцевали хулу. Она была очень хороша, как всегда по ночам, когда перебиралась за пол-литровую отметку.

Затем появились жирафыи ноги в стоптанных туфлях «хаш-папис», а вслед за ними вылез Патрик, почесал заросший затылок и уставился на Кларку. Татарчонок этот, видимо, сильно перемещался у него в глазах, Патрик делал страшные усилия, чтобы поймать фокус, сгибался в разные стороны, работал локтями. Должно быть, ему казалось, что он толкается в густой толпе, в связи с этим он налево и направо кивал головой и говорил «сорри». Наконец он извлек из заднего кармана плоскую фляжку, глотнул, и обстановка для него более-менее прояснилась. Тогда он обнял Самсика за плечи.

– Здравствуй, здравствуй, сукин сын! Мы слушали, как ты играл.

– Опозорился я сегодня, – сказал Самсик.

– Нет, старик, до позора ты еще не дотянул, – Тандерджет икнул, – но вообще-то ты здорово играл, почти как прошлым летом в Мариенбаде.

– А я играл прошлым летом в Мариенбаде? – спросил Самсик.

– Ты очень здорово там играл, – кивнул Патрик. – Но и сегодня ты хорошо играл. Скажи, где ты, дружище, услышал мою тему? Ведь я всего неделю назад сыграл ее в Монтерее.

– Вот тебе! – воскликнула возмущенно Машка и вlepила гостю сильнейшую пощечину. – Это наша тема, моя и Самсика!

Пата опять повело. Он поцеловал обидевшую его руку и взял за плечики татарчонка, склонился над ним, как над кроликом удав.

– Ну вот и ты, Чирико, вот и ты наконец-то, – шептал он, и шепот иностранца змеился по всему переулку, пугая стукачей и тихарей.

Машка села на тротуар и весело заплакала, а Патрик поднял на руки Клару и сказал ей прямо в губы:

– Ты, конечно, не обидишься, Чирико, если я швырну тебя в машину?

Все влезли в «Импалу», и Патрик стал по-идиотски газовать, нелепо втыкать скорости. Машина ревела, дергалась, ее организм, расшатанный бесконечной пьяной ездой, очень страдал.

– А вы где живете, товарищ? – спросила водителя Кларка, сидящая рядом с ним наподобие ребенка или собаки.

Патрик в ответ наклонился и впился ей в губы. Машка тем временем как бы рыдала на Самсиковой груди, а на самом деле проверяла пальчиками – все ли в порядке. Машина катила прямо на бетонную подпорку гостиницы «Минск».

* * *

ABCDE

Аристарх Аполлинариевич Куницер, проклиная свой научный талант, покинул ночное архисекретнейшее совещание, куда был вызван в самый неподходящий момент, а именно перед последней атакой на бутылку «Белой лошади». Сейчас, спускаясь по мраморной лестнице наисекретнейшего научного комитета, он, тихо рыча, вспоминал подробности совещания, на котором его утреннее сортирное открытие уже обсуждалось как нечто принадлежащее не ему одному, а всему прогрессивному человечеству в свете его (человечества) ожесточенной борьбы за мир. Спускаясь и тихо рыча, он слабой рукой производил поиск в своем портфеле среди пронумерованных и зарегистрированных первым отделом бумаг. Найдя наконец «Белую лошадь», в которой еще кое-что оставалось, он прекратил наконец тихое рычание, повеселел и, почти уже забыв о подробностях архигнуснейшего (по выражению Учителя) совещания, прошел через вахту и оказался в пустынном и прелестном московском переулке.

Не успел он глотнуть из бутылки, как увидел, что с улицы Горького в переулок заворачивает огромная черная дипломатическая машина, а из нее машет ему пьяная женская рука. В машине сидела любовница Куницера Машка Кулаго и его старый англо-американский кореш Патрик Тандерджет.

– Нашли все-таки меня, шпионы проклятые, – пробурчал Куницер.

– Лапа, наконец-то мы тебя нашли! – завизжала Машка и выскочила из машины. Она была в своих неизменных джинсах и красной рубашке, завязанной калифорнийским узлом под грудью. Между рубашкой и джинсами поблескивал гладкой кожей потрясающий Маш-

кин живот. Машкины глазища танцевали хулу. Она была очень хороша, как всегда по ночам, когда перебиралась за пол-литровую отметку.

Затем появились жирафыи ноги в стоптанных башмаках «хаш-папис», а вслед за ними вылез Патрик, почесал заросший затылок и устоялся на поблескивающую в руке Куницера почти уже пустую «Белую лошадь».

Бутылка, видимо, плясала у него в глазах, он делал страшные усилия, чтобы поймать фокус, сгибался в разные стороны, работал локтями. Должно быть, ему казалось, что он толкается в густой толпе и в связи с этим он налево и направо кивал головой и говорил «сорри». Наконец ему удалось поймать губами горлышко, спасительный янтарный шарик проскочил ему внутрь, и он сразу выпрямился, повеселел и со своей замечательной живостью сказал бутылке:

– Как вы очаровательны, мадам!

– Пат, неужели ты не видишь? – возмутилась Машка. – Перед тобой твой друг Арик стоит!

– Вижу, вижу, – оживленно, куртуазно ответил Патрик и отсалютовал бутылочке. – Как вообще-то жизнь, старик?

– Ничего, спасибо, – ответил я. – Сегодня я сделал важное научное открытие.

– Какое? – вскричала Машка.

– Какое – не скажу.

– Почему, лапс? – огорчилась она.

– Потому что оно принадлежит моей родине.

– Выдающиеся научные открытия принадлежат всему человечеству, – заносчиво и вроде бы даже презрительно произнесла она.

– Это вам так кажется! – кривым ртом заорал Куницер и чуть не заплакал от обиды. – Вам, космополитам окаянным, без роду, без племени, а особенно тебе, блядища, белогвардейское отродье!

Машка села на тротуар и весело заплакала. Патрик тем временем, не обращая на нее внимания, любезничал с бутылкой.

– Вы мне нравитесь, бэби! Почему бы вам не поехать со мной? Ну, вы поедете со мной! Ох, заводная девочка!

Мы влезли в «Импалу», и Патрик начал по-идиотски газовать, нелепо втыкать скорости. Машина редела, дергалась, ее организм, расшатанный бесконечной пьяной ездой, очень страдал. Патрик гугукался с бутылкой, словно с какой-нибудь японской проституткой в квартале Синдзюко, счастливо смеялся и изредка ее сосал. Машка как бы рыдала на Аристарховой груди, а на самом деле проверяла пальчиками, все ли на месте. Машина тем временем катила прямо на бетонную подпорку гостиницы «Минск».

* * *

ABCDE

Геннадий Аполлинариевич Малькольмов покинул операционный блок в радужном настроении. Как все складывалось сегодня удачно! Как чудно! Какую блестящую технику он показал на операции! Какие анастомозы! Какие пластики! Как блеснул! Какой был аттрактивный сорокалетний мужчина-хирург-супермен, загорелая бестия, овеванный легендами на весь институт почти-профессор Геннадий Малькольмов! Какую импрессию произвел на присутствующих, а главным образом, на студентку Тинатину Шевардину! Каким нескрываемым восхищением горели глаза студентки! И как потом, после операции, все замечательно сложилось! Как непринужденно, без всякого давления преподнесла ему старшая операционная сестра полную мензурку ректификата и как замечательно все это было тут же выпито

и запито холодным боржомом! Как все это чудно получилось, как молодо, лихо, словно в студенческие годы, в поздние пятидесятые! И очень кстати тут оказался студент Каверзнев, вечный задолжник, культмассовик, торговец живым товаром! И как подхлестнул этот мерзавец еще молодого почти-профессора, когда, подмигивая, сказал ему, что Тинатина Шевардина ждет его у выхода из парка и что он, Каверзнев, все уже устроил, что будет вечеринка с участием Малькольмова и Шевардиной, а благодарность за эту так называемую вечеринку – пустяковая, всего лишь положительная оценка ему, Каверзневу, за цикл госпитальной хирургии!

Малькольмов бодро шел по парку, над ним качались со скрипом деревья, он казался себе удачливым напористым шестикурсником, предвкушал «вечеринку», будущую связь с Шевардиной, алкогольные напитки, оглушительную поп-музыку, и лишь чуть-чуть иногда набегало гнетущее ощущение воровства, нечистоты, пошлости, ненастья, но лишь чуть-чуть, чтобы тут же убежать.

Он вышел из парка в тихий пустынный московский переулок. Студенты уже ждали его, живописно привалившись к чугунной решетке прошлого века, все в современных одеждах, ночные блики играли с высокими коленями Тинатины Шевардиной. В конце переулка появились и тихо поползли ко всем присутствующим широко расставленные четыре хрустальных глаза.

Все рухнуло, подумал Малькольмов, нащупали, космополиты проклятые!

Он не ошибся, к институтскому парку приближалась черная дипломатическая четырех-спальная-восьми-цилиндровая колымага, а из нее ему махала пьяная женская рука. Это приехали по его душу давнишняя его любовница Машка Кулаго и старый его англо-американский, а вернее, интерконтинентальный кореш Патрик Тандерджет.

– Геночка-лапочка! Вот и мы! Вот и мы! – завизжала Машка и выскочила из машины. Она была в своих неизменных джинсах и красной рубашке, завязанной калифорнийским узлом под торчащими в разные стороны грудями. Между рубашкой и джинсами поблескивал, словно крыша «Фольксвагена», потрясающий Машкин живот. Машкины глазища танцевали хулу. Она была очень хороша, как всегда по ночам, когда перебиралась за пол-литровую отметку.

Затем появились жирафыи ноги в стоптанных башмаках «хаш-папис», а вслед за ними вылез Патрик Тандерджет, почесал заросший затылок и уставился на группу студентов, точнее, на Тинатину Шевардину и двух ее подруг.

– Любопытно, откуда столько помидорчиков, и почему они в этом гарнизоне? – Без особого труда было видно, что американский хирург самый пьяный в этой компании. Не исключено, что три московские студентки казались ему сонмищем сайгонских проституток. Он делал страшные усилия, чтобы поймать фокус, сгибался в разные стороны, работал локтями. Должно быть, ему казалось, что он толкается в густой толпе, и в связи с этим он налево и направо кивал головой и говорил «сорри». Наконец ему удалось добраться до студенток, он схватился за них и блаженно затих с таким видом, словно слушает органную фугу где-нибудь в соборе.

Тут вдруг Малькольмов заметил, что Патрик облачен в его лучшую малькольмовскую рубашку.

– Лапсик, знаешь, Пат, прилетел сегодня неизвестно откуда японским самолетом, и у него в чемодане все было такое грязное и вонючее, что мне пришлось заехать к тебе домой за одеждой, – затараторила Машка.

– Могла бы чего-нибудь и похуже взять, – разозлился Малькольмов.

– Ведь он твой лучший друг! – воскликнула Машка.

– Я не ему говорю, не другу! – рявкнул Малькольмов. – Я тебе говорю – хватит раздавать мою одежду своим заезжим козлам! У нас тут не Лондон, у нас магазина «Либерти» тут нету! С одеждой плохо!

Машка села на тротуар и весело заплакала. Патрик тем временем уже хлебнул ректификатику из каверзневского рукава, оживился и засуетился среди студентов.

– Ты, малыш, хочешь тысячу пиастров? А ты? А ты? Красота! Вот преимущества военного человека! Джойн Ю Эс Арми! Увидишь весь мир! Да здравствует агрессия! Генка, поехали!

Все тут влезли в «Импалу», и Патрик стал по-идиотски газовать, нелепо втыкать скорости. Машина ревела, дергалась, ее организм, расшатанный бесконечной пьяной ездой, очень страдал. Студентки дико хохотали, и впрямь как заправские проститутки, а мерзавец Каверзнев уже примерял на запястье патриковскую «сейку». Что касается Машки, то она вроде бы рыдала на малькольмовской груди, а на самом деле проверяла пальчиками, все ли на месте. Машина тем временем ехала прямо на бетонную подпорку гостиницы «Минск».

* * *

ABCDE

Радий Аполлинариевич Хвастищев в этот вечер очень долго без всяких мыслей и чувств, не говоря уже о вдохновении, шлифовал мраморный хвост своей скульптуры «Смирение», пока молодая луна не заглянула наконец в его мастерскую и не призвала его бросить скорбную вахту и устремиться на улицы столицы в поисках источника вдохновения, скорее всего в ресторан Всероссийского Театрального Общества.

Я войду так резко, хмуро и сяду один, чтобы никто не лез с рюмками, с фужерами, бутылками, и сам алкоголя не возьму, чтобы блядам не было соблазна, буду сидеть и размышлять о великом – о пергамском фризе, например, или о формах Мура, но лучше о Пергаме, а именно о той группе, где псы Артемиды терзают гигантов – а закажу только блюдо «зубрик», салат, бутылку минеральной, кофе, и никакого безобразия от меня сегодня, подонки, не дождетесь.

Так думал скульптор в одну из ночей своего четвертого десятилетия, стоя на пороге пятого, стоя на пороге своей мастерской, под молодой луной и глядя, как приближается к нему снизу по горбатому переулку пожилой водопроводчик Стихин в рубашечке-разлетаечке и молодой дворник-хиппи Чудаков в овечьей шкуре. И думая так, скульптор скрывал от себя, что уже готов быть третьим в этой компании, что уже готов к приятию всех этих гнусных «портвейнов» и «мадер», которые сейчас Стихин несет в своих штанах, и готов, несомненно, к поездке в общежитие школы торгового ученичества в Очаково с Киевского вокзала.

Между тем сверху по горбатому переулку сползали четыре хрустальных глаза, и через несколько секунд Радий Хвастищев увидел, как машет ему из машины пьяная женская рука. К этому он был сегодня не готов. Снизу шло к нему свое родное – безобразное пьяное московское мужское братство, сверху сползало чужеродное – его космополитическая любовница Маша Кулаго и их общий друг Патрик Тантерджет, многосторонний международный талант. Нащупали все-таки, эстеты проклятые, снобы, западная шпана!

– Лапуля, мы тебя нащупали! – завизжала Машка и выскочила из машины. Она была в своих неизменных джинсах и красной рубашке, завязанной калифорнийским узлом под торчащими грудями. Лифчиков Машка никогда не носила, что, конечно, нередко удивляло московскую публику. Между рубашкой и джинсами поблескивала удивительно завершенная природой форма – потрясающий Машкин живот. Она была очень хороша, как всегда по ночам, когда перебиралась за пол-литровую отметку. Затем появились жирафыи ноги в

стоптанных башмаках «хаш-папис», а вслед за ними и все туловище бедолаги-глоб-троттера Патрика Тандерджета.

Патрик почесал свой заросший затылок и покивал своим длинным носом.

– Пат, видишь, вот он твой старый друг, наш знаменитый, наш гениальный! – закричала ему на ухо Машка.

– Вижу, вижу, – пробормотал Тандерджет и с любезнейшей улыбкой на устах направился к водопроводчику Стихину. Путь его был труден. Видимо, водопроводчик все время уплывал из его поля зрения, он делал страшные усилия, чтобы поймать фокус, сгибался в разные стороны, работал локтями. Должно быть, ему казалось, что он проталкивается сквозь густую толпу, в связи с чем он кланялся налево и направо и говорил «сорри». Наконец ему удалось до-браться до Стихина, и он с вожденным хлюпом обнял этого русского человека за бедра.

Хвастищев повернулся к Машке и сухо ей сказал:

– Между прочим, могла бы воздержаться от дурацкой иронии. Я действительно известен в артистических кругах культурного мира.

– Лапсик! – всплеснула руками Машка. – Ты гений!

Хвастищев крутанулся на каблуках.

– Мы с вами спим, мадам? О'кей! Не отказываюсь! Но уж давайте без этих литфондовских «лапсиков»! Что касается западных мещан, особенно пришлого происхождения...

Машка села на тротуар и весело заплакала. Патрик тем временем, словно демон гомосексуализма, все оглаживал малопривлекательные бедра Стихина, всякий раз трепетно задерживаясь на упрятанных в бедра бутылках.

– Мы с тобой, папаша, союзники по Второй мировой, – ласково говорил он водопроводчику и тут же поворачивался к дворнику: – А с тобой, сынок, по движению «Власть цветов». Давайте держаться вместе, друзья!

– Клевый парень, – сказал Чудаков. – Доллары у тебя есть?

– Давайте все сегодня объединимся, все друзья, какие есть в Москве, – предложил Патрик. – Поехали в бразильское посольство. Бразилия – страна ХХХІ века!

– А что, поехали, – согласился Чудаков, – не прогонят же.

Стихин тоже высказался:

– Ты, если выставляешь, сам выставляйся. Снабаш берешь? Пожалуйста, не отказываемся. Ты русского человека неправильно понимаешь, а ты его пойми, он – незлой.

С этими словами он извлек из бедер своих трех «гусей», три бутылки 0,75 «Мадера розовая» производство Рамен-ского ликероводочного завода.

Все тут влезли в «Импалу», и Патрик стал по-идиотски газовать, нелепо втыкать скорости. Машина редела, дергалась, ее организм, расшатанный бесконечной пьяной ездой, очень страдал. Патрик, Стихин и Чудаков голосили песню «Стою на полустаночке». Машка вроде бы рыдала на груди Хвастищева, но на самом-то деле проверяла пальчиками – все ли на месте. Они долго кружили по московским улочкам и переулкам, пока не направились прямо на бетонную подпорку гостиницы «Минск».

* * *

ABCDE

В бразильском посольстве как раз шел прием, и на нем присутствовал московский писатель Пантелей Аполлинариевич Пантелей. Впрочем, посольство, возможно, было и не бразильское, и не исключено, что Пантелей явился сюда без приглашения, просто увидел в окнах свет, движение, праздник и заявился, обманув авторитетным заграничным видом милицию и гэбэ. Во всяком случае, присутствовал.

Он стоял за витым додоновским столбом в главном зале посольства. Огромный гала-прием в честь национального праздника этой страны был в разгаре. Послы, советники, военные атташе, советские штатские чиновники и офицеры, духовенство, советские чиновные писатели и «инакомыслящие», деятели науки и культуры, космонавты, спортсмены и дамы, дамы, дамы, толстые, худые, хорошенькие, ведьмы, сучки, голубушки, стукачки, кусачки, – все они медленно двигались перед изумленным взором смертельно напуганного Пантелея.

Что там говорить, не первый раз Пантелей попадал на такие сборища. За истекшее десятилетие он побывал на десятках, а может быть, и на сотнях дипломатических приемов и никогда их не чурался, не корчил снобских гримас – «ох, надоели, мол, эти приемы», – никогда на этих приемах не было скучно прогрессивному советскому писателю Пантелею. Всегда он наедался здесь вкусной едой и напивался вполпьяна изысканными напитками, а иногда и закадрить даму здесь ему удавалось.

И вдруг сегодня он глянул вокруг и ничего не узнал. Он не понимал даже, люди ли это вокруг или какие-нибудь другие предметы. Он не понимал даже понятия «предметы», а понятие «вокруг» казалось ему каким-то темным хаосом. Ужас неузнавания притянул его к додоновской колонне. Она почему-то была ему знакома. Он смотрел на инкрустированный уральскими камешками завиток колонны и в полном отчаянии думал, что не может оторваться от колонны, что если он от нее оторвется, то с воем покатится по полу.

Вдруг кто-то тронул его за плечо, и сквозь ничейное пространство к нему проникло слово «привет». Ток передернул его от затылка до пяток, он обернулся и увидел Алису. Ее он узнал.

Эту женщину. Эту женщину с ее быстрым и лукавым взглядом, с ее ртом, то горьким, то дерзким, с ее шалой гривой рыжих волос, эту штуку из десятка нынешних московских красавиц он признал сразу.

– На вас лица нет, Пантелей! Что с вами? – проговорила она и тут же отвлеклась взглядом в толпу, устремила в толпу свой тайный, быстрый, сосредоточенный розыск.

– Можно я тут с вами постою? – спросила она, не дождавшись ответа на сердобольный вопрос. – Мой муж вас очень уважает.

Из глубины зала с безнадежной тоской смотрело на них загорелое лицо ее мужа, знаменитого конструктора тягачей. Вдоль стены боком-боком с улыбкой и бокальчиком подползал сучий хвост, очередной любовник.

Пантелей вдруг, ничего еще не понимая, но с бурной радостью схватил даму за слабое плечо и повернул ее к себе. Страх откатывался по необозримой анфиладе комнат в зеркала, в пустоту, и шум его затихал.

– Мон амур, – сказал Пантелей Алисе. – Тебя мне Бог послал. Ты мое спасение.

Странно: она не вырывалась, а внимательно смотрела на него, и он чувствовал пальцами сквозь расшитую золотой ниткой ткань ее теплую податливую кожу.

Между тем приблизился любовник в английском долгополом сюртуке, в канареечном галстуке, с насмешливыми ленивыми глазами распутника под сократовской плешью недурка.

– Приветик, приветик, – загнусавил он. – Сколько народу собрали, и все ради нескольких строчек в газете. Пантелюша, ты чего это держишь малознакомую даму за плечо? Отпусти.

– Сейчас ногой по яйцам получишь, – сказал ему Пантелей.

– Ну вот, здарсьте, – развел руками любовник. – Завтра в газетах напишут: «Прием прошел в холодной враждебной обстановке».

Шутка, должно быть, играла важную роль в обиходе их любви. Алиса хотела уже рассмеяться, но шутка пролетела мимо, и лицо чудной дамы замерло в молчаливом покорном ожидании своей судьбы.

Конструктор тягачей, чуя неладное, пробивался сквозь дипломатическую толпу, как его детище пробивается через белорусский лес.

– Мон амур! – громко повторил Пантелей. Ему казалось уместным назвать сейчас предмет по-французски. – Ты моя судьба. Только сейчас я понял, что это тебя я вижу уже несколько лет во сне.

К ним повернулись лица всех оттенков кожи, и Пантелей подумал, что форум достаточно представительный для объяснения в любви.

– Леди и товарищи! – сказал он с любезной улыбкой, разворачивая за плечико безмолвную Алису и как бы демонстрируя ее всему залу. – Прошу обратить внимание. Интересное явление человеческой психики. Я вижу эту женщину во сне уже много лет, хотя наяву совсем недавно и плохо с ней познакомился. Вообразите, мне казалось даже, что я гладил ее бедро, именно это бедро, которое сейчас передо мной, ошибиться я не мог, хотя никогда не спал с этим бедром.

Он отпустил плечо Алисы и благоговейно провел ладонью по ее бедру, и впрямь – путь, который прошла его ладонь, показался ему знакомым, беспредельно милым и единственно возможным путем.

– Вот все, что я хотел сказать. Прошу простить. – Он поклонился Алисе и шаткой, но быстрой походкой направился к выходу.

Пройдя без особых приключений словно президент по коридору сквозь расступившуюся толпу, Пантелей вдруг запнулся перед столом, за которым стояли три красавца бармена, а под руками у барменов на белоснежной скатерти толпилось общество, гораздо более блистательное, чем в залах посольства. Здесь были и «Гордон джин», и «Чинзано драй», и «Королева Анна», «Арманьяк», «Мумм», «Кампари», «Реми Мартен», «Баллантайнз», «Смирнофф», «Бенедиктин» в окружении гвардии «Швепса» и «Колы».

Пантелей остановился возле этого стола и оглянулся. Ему вдруг показалось, что он загипнотизировал всю толпу своим сообщением о бедре Алисы. Может быть, так оно и было, хотя бы отчасти, ибо Пантелей смог совершенно беспрепятственно загрузить большой картонный ящик великолепными напитками и беспрепятственно покинуть посольство неопределенной страны.

Лишь только уже на улице в пустынной тишине он услышал крики погони. Он спрятался под арку какого-то дома, и погоня, словно в средневековом Париже, пронеслась мимо. Восторг охватил его. Сейчас вернусь домой и все это опишу. Только бы не забыть: Алиса, я, похищенные спиртопродукты... главное, не забыть, что погоня пронеслась мимо, как в средневековом Париже! Он выскочил из-под арки и, петляя по переулкам, быстро замел следы. Как хорошо жить в ночное пустынное время!

Пантелей вынул из ящика и расставил вдоль тротуара все свои трофеи, все разнокалиберные, и разнофигурные, и разноплеменные бутылки. Он не сомневался, что кто-нибудь скоро появится и увезет его куда-нибудь из этого чудного московского переулочка, где прохладные и безвредные тайны кошками перепрыгивают с крыши на крышу. В самом деле, не век же ему здесь сидеть.

Четыре хрустальных глаза появились в темной утробе, и вскоре выехала под фонари огромная «Импала», из которой махала Пантелею пьяная женская рука.

Любовница Пантелея А.Пантелея швейцарская подданная мадмуазель Мариан Кулаго...

...прохладные и безвредные тайны кошками перепрыгивают с крыши на крышу... Только бы не забыть!

и старый друг Пантелея третий заместитель шестого вице-президента международного Пен-клуба ехали вместе по ночной невинной Москве. Невинная Москва!

Пантелей уселся на край тротуара, рядом со своими трофеями, изображая из себя уличного торговца. Пусть видят идеологические диверсанты, чем торгуют в Москве уличные торговцы, каков ассортимент!

– Пантик, Пантик, вот наконец и ты! Теперь ты у нас на крючке! – завизжала Машка и выскочила из машины.

Она была в своих неизменных джинсах и красной рубашке, завязанной калифорнийским узлом под свободно шевелящимися грудями, в которых, конечно, скрывался идеологический заряд необычайной силы. Б-р-р! Между рубашкой и джинсами поблескивал эпицентр идейной борьбы между Азией и Европой, Машкин потрясающий живот. Она была очень хороша, как всегда по ночам, когда перебиралась через пол-литровую отметку.

Затем появились жирафыи ноги в стоптанных башмаках «хаш-папис», а вслед за ними и все туловище так называемого вице-президента, который больше походил на спившегося центрового баскетбольной команды. Он почесал пятерней свой заросший затылок, увидел вдруг всю мою коллекцию, расставленную на тротуаре, и, дико вскрикнув, отпрянул на шаг.

– Нет, не хочу! Снова ООН? Снова ЮНЕСКО? Хотя бы месяц можно без этого? Пантик, помоги! Манечка, держи меня за нос!

Мы все трое тут обнялись и спели песенку нашей далекой весны:

*И нам ни разу не привидится во снах
Туманный Запад, неверный лживый Запад...*

* * *

Итак, поехали! Куда? Подальше! Подальше от Лондона, от Парижа, от Москвы, поближе к нашей весне, к нашей пьяной безобразной такой безвозвратной весне. Патрик по-идиотски газовал, нелепо втыкая скорости. Машина ревела, дергалась, ее организм, расшатанный бесконечной пьяной ездой, очень страдал. Мы пели теперь славную американскую песенку о тех подонках, что пишут на райских стенах и потому обречены скатывать свое дерьмо в маленькие шарики. Пусть катают! А те, кто читает их премудрости, пусть эти шарики жрут! Мы ехали, пели и рыдали друг у друга на груди, а Машка тем временем, рыдая, проверяла пальчиками – все ли на месте. Мы долго ехали, пели и рыдали, пока машина не понеслась на бетонную подпорку гостиницы «Минск».

* * *

Хирург-педиатр-ревматолог-кардиолог-фтизиатр Геннадий Аполлинариевич Малькольмов рассказывает о своей молодости неизвестно кому неизвестно когда по телефону в неопределенном направлении

Мы трое, Машка, Патрик и я, познакомились в августе 196... года в госпитале Организации Объединенных Наций в джунглях Катанги. Я приехал туда в качестве искуснейшего советского специалиста по африканскому туберкулезу, а Патрик американским костоправом, а Машка, или, как она тогда называлась, мадмуазель Мариан Кулаго, была христианской сестрой милосердия.

Работа нас там не слишком обременяла: основным нашим пациентом было немногочисленное племя охотников-пигмеев с Западного побережья. Каким-то образом пигмеи прослышали о нашем госпитале, об ооновских пайках, снялись со своих насиженных мест, прошли по джунглям сотни километров и явились к нам – лечиться. То-то было веселья! Мы их всех госпитализировали – и взрослых охотников, и детей, и девушек-пигмеек, и старух.

Госпитализировали мы и богиню племени, странное светлокжее существо с раздутым животом и расплзающимся, как две пуховые подушки, задом, безмолвное существо, лежащее на ритуальной подстилке с раздвинутыми подтянутыми вверх на петлях ногами.

Любопытно было наблюдать отправление культа Метамунгву (так звали богиню). Все племя становилось вокруг, женщины отдельно, мужчины отдельно. Все пели. Мужчины по старшинству подходили к богине для совершения ритуального полового акта, а женщины целовали богиню в лоб и совали ей в рот кусочки пищи, которые она тут же быстро прожевывала и глотала.

Метамунгву потрясла воображение всего мужского персонала госпиталя, тогда как наши дамы, за исключением Машки, не находили в ней ничего особенного.

По вечерам, когда все мы собирались на веранде над озером, я часто советовал Патрику принять участие в ритуале, и он, глядя в упор на Машку, обещал, что так и сделает, и в самом деле вскоре стал прогуливаться во дворе гаража, где стоял помост с богиней, пытался с ней заговорить, шутил, читал ей газеты и стихи Эзры Паунда и вдруг – все даже ахнули – приучил ее курить. С тех пор Метамунгву в перерывах между актами и едой только и делала, что попыхивала сигаретой.

Пигмеи пришли в священный ужас и, кажется, договаривались укокошить мистера Тандерджета. Думаю, лишь счастливая случайность спасла тогда искусителя. Однажды он догадался сунуть в рот богине горлышко бутылки, и та, нахлебавшись «Блэк энд уайт», вдруг впервые за долгие десятилетия села и на приличном испанском языке спела в честь Патрика эпिताму примерно такого рода:

*Патрик Тандерджет
Чикито с длинным носом
И ангельской улыбкой
Патрик Тандерджет
О принц
О розы ночи
О Патрик Тандерджет!*

Пигмеи при виде этого зрелища и при звуках эпिताмы пали ниц в ожидании конца света. Директор госпиталя, профессор Аббас, тогда вызвал к себе Патрика и запретил ему дружбу с загадочным существом.

Как смеялась тогда Машка, как она тогда смеялась! Машка... Машка... мадмуазель Кулаго... Как странно сейчас вспоминать, а ведь было и у нас с ней «шепот, робкое дыханье» в африканском кустарнике. Кем была она тогда, нынешняя московская иностранка, потаскушка, пьянчужка? Она была тогда русской француженкой, эмигранткой в третьем поколении. Чиста и радостна, как ранняя зарница христианства.

– Мой дедушка был военный, – лепетала она, – сначала кавалерист, а потом летчик. Он очень много воевал, тре бьен, а потом отступил с войсками.

– С какими войсками? – интересовался я.

– С нашими войсками. С русскими. Отступил в Европу.

– Ты ошибаешься, дочка, – говорил я, целуя ее туда-сюда. – Русские войска никуда не отступали. Отступили белые, всякая шваль антантовская, а русские, то есть красные, остались.

– Ну что ты, милый! – Она расширяла глаза. – Русская армия вся отступила, а красные – это китайцы, латыши и евреи. Еще матросы и чекисты, – добавляла она, подумав.

– Умный у тебя дедушка, – говорил я.

– Неглупый, – соглашалась она.

Как она входила, я помню – помню, как она входила на утреннюю докторскую конференцию в своих полотняных штанах и джинсовой рубашке, эдакая чертовка, рассыпала сигаретный пепел, говорила птичьим своим голоском: «Сава!», и все доктора: русский, янки, японец, итальянец, финн, поляк, и главный врач, пакистанец Аббас, отвечали ей со своими национальными улыбками «сава», и под флагом ООН в дебрях Катанги воцарялось благоденствие.

Тем временем влюбленный Патрик Тандерджет весьма страдал. Однажды он пришел ко мне под сильным газом и сказал, что ему не дает спать одна большая мысль. Какая же мысль? А вот такая: с одной стороны, мисс Кулаго как русская по крови принадлежит мне, но с другой стороны, она все-таки гражданка западной державы, то есть Свободного Мира, а из этого можно сделать противоположные выводы.

– Патрик, ты же умный человек, – урезонил я его, – и ты должен понимать, что мир держится на очень шатком равновесии. Мощь стран Варшавского пакта так огромна, что ты и представить себе не можешь.

– В самом деле? – удивился он.

– Клянусь! Кроме того, Пат, не забывай, что сейчас нас осеняет голубой флаг ООН, надежда всего человечества.

Он ушел в ночь и долго хрустел валежником в лесу возле госпиталя, вспугивая стайки обезьян и одиноких гиен.

Однажды я прочел Машке стихи Гумилева про изысканного жирафа с озера Чад. Она удивилась: ты советский, а читаешь стихи русского поэта? Ах, Маша, Маша... В другой раз она услышала у меня записи Окуджавы и вдруг заплакала – что это, откуда, чей это голос летит из советской пустыни? Она вдруг поняла, что страна, из которой прибыл ее африканский любовник, ей неведома.

Наши эротические ночи шли одна за другой, и мы засыпали обычно опустошенные и счастливые, словно чемпионы после удачных стартов, но однажды меня вдруг одолели воспоминания о прошлом, о юноше фон Штейнбоке, о сопках под луной, о зеленой звездочке над магаданским сан-пропускником, я забыл тогда о Машке и стал молиться. Вдруг она вздохнула рядом.

– Как же они верят тебе?

Я и сам не очень-то понимал, почему ОНИ мне верят. Собственно говоря, а почему бы ИМ мне не верить? Я отлично просвечиваю рентгеном пигмеев, накладываю пневмотораксы на разлохмаченные легкие, даже богине Метамунгву я назначил инъекции стрептомицина и витамина В-прим и этим, конечно, способствовал укреплению престижа своей великой отчизны, развеял еще одно смрадное облачко антисоветской пропаганды племен Малави. Почему бы ИМ не верить мне?

Мы с Машкой так были заняты друг другом, что даже не заметили, как вокруг началась война. На горизонте кажется что-то горело персонал, кажется, нервничал, крутил ручки транзисторов, откуда верещали дикторы по-французски, по-английски, по-суахили, но мы только смотрели друг на друга и улыбались. Машка, кажется, всерьез собралась замуж за меня.

Однажды мы с ней сентиментально скользили в двухместной байдарке по озеру, когда низко над водой пронесся реактивный самолет с какими-то дикими опознавательными знаками. Длинная полоса фонтанчиков молниеносно прошла мимо байдарки и погасла вдали, а спустя минуту над водой вздулся кровавый пузырь и всплыл крокодил с распоротым брюхом.

– Вот бы я начистил хавальник этому фрукту за такие хохмы! – не на шутку рассердился я.

– Какой ужас! Начистил! Хавальник! Фрукт! Хохмы! Что это? Кес ке се? – смешно морщилась Машка. Эмигрант-ское ее ухо не всегда выдерживало новых современных перекатов «великого-могучего-правдивого-свободного».

А самолет уже возвращался, плевал огнем, и крови в озере становилось все больше, а на берегу загорелся инфекционный барак и баобаб во дворе госпиталя. Последовавшая за этим ночь объективно была вполне ужасной. Бои приближались к нашему благословенному озеру. Уступы гор то и дело озарялись вспышками огня, джунгли оглашались близким лаем автоматов.

Весь персонал собрался в библиотеке. Католики (их было большинство) во главе с отцом Клавдием то и дело вставали на колени перед портативным алтарем, мусульмане вершили намаз, буддисты сидели с закрытыми глазами, Тандерджет с механиком-уругвайцем Ланцем давили одну за другой «Блэк энд уайт», а я читал Машке вслух учебник дарвинизма для советских школ. Ты должна знать, бэби, какое воспитание получил твой будущий муж.

Этот учебник я повсюду возил с собой. Там была картинка, изображающая ужасный мир доисторических животных, крайне неприятный глазу современного владыки Земли. Под водой, например, с хищными поползновениями двигался стремительный морской ящер. В воздухе носились друг за другом когтистые, клыкастые, перепончатые птеродактили. На берегу под гигантским хвощом раскорячился безумный плезиозавр. Поражало обилие бессмысленных тварей, одержимых одной идеей – сожрать кого-нибудь, и побыстрее, пока тебя не сожрали.

Однако самым интересным персонажем картины был, конечно, некий незадачливый динозавр, лишенный головы. Все у него было на месте – колоссальное мускулистое и мясистое тело, длиннейший хвост, колоннообразная шея, не хватало лишь маленькой детали – головки, вес которой, как известно, у динозавра равен одной семитысячной части веса всего тела. Кто-то несколько месяцев назад откусил ему голову, он даже и заметить не успел, кто именно, и теперь бедолага меланхолично шлепал по мелководью, обескураженный тем, что нечем кушать, да и пищи, собственно говоря, не было видно, ибо рот и глаза располагались у него все-таки на голове.

* * *

ОТ АВТОРА. В этом месте мы прервем телефонную бубню Геннадия Аполлинариевича для того, чтобы рассказать о любопытной связи явлений.

Когда-то в позапрошлом мокром десятилетии Самсик Саблер, лежа за голландской печкой на продранной раскладушке, вообразил вдруг себя поэтом и записал на манжетах нечто в таком роде:

*Проклинаю, икаю и вою!
Затаиться, свернуться и ждать,
Чтобы в папертниках и хвоях
Липкой гадиной жизнь продолжать,
Чтобы в древних гигантских секвойях,
Уцелевших в пожарах земли,
Никогда не встречаться с тобою,
Не пускать в ручейки корабли.*

С кем – с тобою? Какие корабли? Какие ручейки? – уныло морщился поэт. Стих стоил бы по скромному подсчету двести старых рублей, будь в нем хоть гран здравого смысла, не

говоря уж о звонкой рифме, недюжинной хватке, самовитости, боевитости, этих неотъемлемых качествах советского стиха.

Позднее, уже в годы славы, скульптор Радий Хвастищев отказался в пользу секретаря МОСХа от соискания «Государыни» и получил за это под мастерскую бывший овощной магазин. Оборудуя это помещение разного рода «станками», скульптор обнаружил в бочке довоенного еще рассола рядом с неразорвавшейся осколочной бомбой нижнюю челюсть небольшого, меньше человека, животного. Наверное, челюсть динозавра, подумал он и задумчиво глянул на глыбу голубоватого мрамора, полученного им недавно из Югославии в знак благодарности за статуэтку «Юность маршала Тито».

Пантик Пантелей и Арик Куницер никогда друг с другом не встречались, что неудивительно, но однажды ухаживали за одной и той же дамой, которая как раз отбывала в Соединенные Штаты Америки на дипломатическую работу. Провожая ее в дорогу, Арик полдня бродил среди порталных кранов морского порта, не смея подойти к белому теплоходу, где дама уже предвкушала себя американкой, и смотрел на шеи кранов, на длиннейшие эти шеи, на их медленное движение. Пантик тем временем, стараясь заглушить тоску по дипломатше и злое чувство к ее мужу, отправился в Зоологический музей и стал изучать жизнь на Земле от ее истоков до нынешнего состояния.

Таким образом обнаружилась несомненная, хотя и очень далекая связь явлений: учебника дарвинизма, сопливого стиха, косточки в бочке с рассолом, молодой дипломатши, порталных кранов, копеечного билета в Зоологический музей.

* * *

– Да что тебе дался этот дурацкий динозавр? – иногда спрашивала меня Машка.

– Глупышка, прочти! – мгновенно воспламенялся во мне дарвинист. – Прочти вот это! «Теперь уже достоверно доказано, что обезглавленный ящер мог жить в доисторической среде не менее одного года и даже сохранял функции продолжения рода». Ну? Каково?

– Да, – каждый раз с неохотой соглашалась моя женевская дурочка. – Это все-таки кое-что значит...

...Утром мимо госпиталя рысью пробежало разгромленное подразделение вооруженных сил ООН, несчастные индусы в потрескавшихся голубых касках. Они оставили нам своих раненых и сказали, что их всю ночь преследовали какие-то ужасные люди, несколько ужаснейших персон, у которых будто бы не было другого дела, кроме насилия над воинством голубого флага.

Машка размешала в содовой воде целую ампулу таблеток алка-зельцер, привела в божеский вид нашего главного хирурга Патрика Тандерджета, и весь госпиталь взялся за работу.

Мы оперировали несчастных искалеченных какими-то мерзавцами индусов в нашей ультрасовременной операционной, сразу на трех столах и даже думать забыли об опасности. Индусы под действием эфирно-кислородного наркоза пели жалобными голосами свои религиозные гимны. Машка, зятая в халат операционной сестры, подавала зажимы и лигатуры: Патрик пилил ногу индийскому сержанту и проклинал романтическую Шотландию, породившую столько сортов виски.

Увлеченные своей человеколюбивой работой, мы не сразу заметили за стеклянной стеной операционного блока медленно передвигающийся по двору броневи́к с безоткатной пушечкой на буксире. Это был бандитский броневи́к без верха, и в нем сидело пятеро подонков, четверо белых и один негр. Они сидели, развалясь, в суперменских позах и с кривыми блатными улыбочками смотрели на госпиталь и на пигмеев, столпившихся вокруг помоста

Метамунгву. Богиня с воздетыми по обычаю ногами курила, не обращая на пришельцев никакого внимания, но племя было явно встревожено.

– К оружию! – вскричал наш рентгенолог японец Нома. – Это мерсенеры!

– Господа, прошу вас оставаться на своих местах, – сказал профессор Аббас. – Мы не можем бросить наших раненых. Продолжайте оперировать, господа! Нас защищает Красный Крест!

– А также Лев и Полумесяц, Змея над Чашей, Серп и Молот, Ватикан, Мекка, Кремль... – Патрик Тандерджет безудержно расхохотался, его просто распирало от похмельного зловещающего юмора.

Мы продолжали оперировать, а между тем трое перепрыгнули через борт броневика и медленно направились к госпиталю, двое в маскировочных комбинезонах, а один атлет в джинсах и пуленепробиваемом жилете, надетом на голое тело, ни дать ни взять голливудский герой. На груди у всех троих болтались автоматы «стенли», а чресла опоясывали массивные пояса, набитые патронами и гранатами.

Они переговаривались и смеялись, но так как из-за стекол операционной звуков не было слышно, то они приближались к нам с немой артикуляцией, полной недоброго смысла. Они неумолимо приближались, словно во сне.

Бывают такие сны преследования, когда к тебе кто-то приближается с неясной, но ужасной целью, приближается, приближается, приближается... и ты все ждешь – что же будет? – а он все приближается, приближается, приближается...

Однако это был не сон, и вскоре троица исчезла с экрана – вошла в дом. Теперь мы их не видели, но из коридора – все ближе и ближе – долетал шум их шагов.

– Спиритус! – услышали мы звонкий молодой голос, должно быть принадлежащий атлету в джинсах. – Фраера, я тут до хера выпивки накнукал!

На каком языке это было сказано, я не понял, но я это так услышал.

Скальпели и пинцеты замерли в наших руках, все врачи переглянулись, а японец Нома с улыбкой прошептал:

– Пусть пьют!

Тогда Машка выглянула в коридор и крикнула:

– Метилловый! Пить нельзя!

– Ого! Какой помидорчик! – загоготали они в три голоса и спустя секунду встали на пороге операционной.

Мы продолжали работать и делали вид, что не видим пришельцев, а те громко переговаривались, с любопытством разглядывая непривычную обстановку. Не знаю уж, на каком языке они говорили, но я-то их понимал преотлично.

– Смотри-ка, Ян, какая тут собралась пиздобратия!

– Сысы-вава! Сколько лепил, уссаться можно!

– Во, бля, стерилизация!

– Ну, ты ученый, Филипп! Смотри, тебя тут за ученость кастрируют!

– Ой, боюсь! Ай! Ай!

– Мы с Яном эту клевою курочку заделаем, а тебе отхватят все хозяйство!

Все трое тут ужасно расхохотались и долго не могли успокоиться, били себя по ягодицам, вытирали слезы, даже икали. Они как будто даже забыли про нас, как вдруг христианский брат милосердия Алоизий Штакель не выдержал напряжения и оборвал их смех своим высоким голосом:

– Гутен таг, господа!

В ответ на приветствие блондин-атлет, который вблизи выглядел гораздо хуже, чем издали, приподнял воображаемую юбочку и сделал книксен. Другой наемник, жилистый субъект лет сорока с лицом узким, как томогавк, отставил правую ногу и пополоскал вооб-

ражаемой шляпой, ни дать ни взять мушкетер Дюма. Третий, однако, не стал ломаться. Он насупился, засунул большие пальцы за пояс и спросил по-французски:

– Кто тут главный?

Этот третий, массивный, корявый, с пучками седых волос, торчащих из складок кожи и из ушей, с седыми бровями, с дряблым зобом под круглым, как колено, подбородком, выглядел бы почти стариком, если бы не его взгляд, бездумный, как щуп миноискателя, но в то же время и неистовый по-рысьи, горевший рысьим неукротимым огнем.

Этот третий кого-то мучительно вдруг мне напомнил, что-то очень далекое закружилось в голове... снег, солнечные квадраты, маленькие дорические колонны, лист фанеры, качающийся лист фанеры, вкус жареных семечек, удивление – откуда они взялись тогда, эти жареные семечки?.. тогда и там?.. Все это молниеносно пронеслось в голове, и следующей на очереди была догадка – уж не из жизни ли Тольки фон Штейнбока?.. И дальше я бы узнал этого мерзавца, если бы страх за Машку вдруг не выдул из головы все воспоминания.

Между тем старший мерсенер хмуро и деловито говорил нашему старшему:

– Вот что я вам, месье, скажу. Мы вашу богадельню не тронем, но этих жмуриков, – он показал на хирургические столы и каталки, стоящие вдоль стен, – этих мы заберем с собой. Нам платят за убитых и пленных дополнительное вознаграждение, вот в чем фокус. Мы всю ночь работали, расколошматили впятером целый полк голубых касок и своего упускать не намерены. Ясно?

– Нет, господа, раненых мы вам не отдадим, – возразил профессор Аббас. – Они нуждаются в лечении.

– Не отдадут, не отдадут, – горько заплакал блондин-атлет. – Плакали наши денежки, ребята...

– Не плачь, Ян, мы их попросим, – взялся его утешать «томогавк», поглаживая по задку, словно бабу. – Мы их попросим: дяденька, отдайте жмуриков!

– Факк юорселф! – неожиданно взревел Патрик Тандерджет и выставил вперед, словно пистолет, свой длинный костистый нос. – Линяйте отсюда, подонки, здесь операционная, а не «кошкин дом»!

– Замолчите, Патрик! – оборвал его шеф. – Извините, господа, коллега нервничает, но я вас убедительно прошу дать нам возможность закончить нашу работу.

Старшой с ухмылкой посмотрел на своих товарищей.

– Видали, ребята, какая пиздобратия, интеллигенция, с простым народом и поговорить по-человечески не могут...

Он сказал это обиженным, даже жалобным тоном и вдруг взревел, взвыл с таким неистовством, с такой слепой яростью, что я снова почти его вспомнил:

– Кончай их всех, ребята!

Мгновенно все трое разбежались по разным углам операционной, раскорячились и выставили вперед автоматы.

...а я почти его вспомнил, почти, почти... но больше уже не вспомню, но больше уже не вспомню... еще мгновение, еще мгновение... и я останусь неотомщенным, неотомщенным, неотомщенным... вот что я вспомнил, вот что я вспомнил, вот что я вспомнил, но сейчас – конец!

– Стыдно, господа! – долетел откуда-то голос Машки, и она откуда-то вышла и проследовала по операционной своей весьма вольной походочкой, которая так чудно гармонировала с огромным рогатым монашеским чепцом на ее голове. Эта походочка всегда меня бесила. Блядь! Так ходят бляди! Товар предлагается желающим, все подчеркивается, все видно... Халат надет на голое тело... ну конечно – ведь жарко!

– Это не по-солдатски! – Она подошла к блондину. – Солдаты уважают хирургов! – Она подошла к «томогавку». – Любой солдат может попасть на стол хирурга. – Она подошла очень близко к «старшому» и даже с улыбкой взяла двумя пальцами дуло его автомата.

– Гы, – вдруг хмыкнул старшой и как-то даже весь передернулся от сладкого предвкушения.

– Помидорчик правильно говорит. Помидорчик очень умный, – сказали блондин и «томогавк», приближаясь к Машке.

– Ладно, – сказал старшой кривым ртом, – хер с вами, лепилы, штопайте ваших жмуриков, а мы продолжим переговоры с помидорчиком. Пошли, мадмуазель. – Он чуть подтолкнул Машку стволом. – Пошли, пошли!

И она пошла, а трое наших невероятных гостей двинулись за ней, кривляясь, словно персонажи какого-то кошмара.

Она пошла, не оборачиваясь, словно меня здесь и не было. Спасительница, Юдифь, святая проститутка! Да почему же мне сейчас послано такое испытание Божие? Что мне делать?

Вот ведь в руках у меня оружие – хирургический скальпель! Я бросаюсь вперед, за мной Патрик, потом Нома и все наши. Мы можем их одолеть! Конечно, мы кого-нибудь потеряем, но не меня же, право! Ведь такого же не бывает, чтобы мы потеряли меня?

А если никто меня не поддержит? Тогда меня прихлопнут, как муху. Все мое геройство вылетит в трубу, и никакого толку – и Машку они испоганят, и меня прихлопнут. Вернее, уже прихлопнули.

Да-да, меня уже запаковали в цинковый гроб и отправили самолетом в Москву. При встрече тела в Шереметьевском аэропорту среди деятелей международного отдела Красного Креста присутствовали безутешные родственники: Самсон Аполлинариевич Саблер, Радий Аполлинариевич Хвастичев, Аристарх Аполлинариевич Куницер, Пантелей Аполлинариевич Пантелей и другие товарищи. Затем все упомянутые были преданы кремации, и память о них вначале обозначилась над Москвой игривыми завитушками, а потом растворилась в небе.

Господи, пошли мне сейчас священное безумие, испепеляющую ярость, назови это, как хочешь, хотя бы обыкновенным мужеством, но пошли! Ведь эти три триппера сейчас раздерут ноги моей любимой и по очереди пустят в ход своих вонючих дружков, а потом они еще позовут двух других из броневики, а потом кто-нибудь из них захочет повторить, а у этой старшей гориллы небось висит штука по колено...

Как долго ты соображаешь, как долго работает твое дивное воображение!

Она конечно волей-неволей от такой чудовищной атаки испытает сладость и будет стонать от сладости, как она стонала с тобой, да нет, сильнее, гораздо сильнее, может быть, она будет визжать, кричать от невыносимой сладости, может быть, это ее «звездный час», может быть, она всегда ждала, сама себе не сознаваясь, пятерых этих коблов, обвешанных оружием?

С какой готовностью она предложила им себя в обмен на наши жизни! А что будут стоить наши жизни после этого обмена? Что будет стоить моя жизнь, за которую я так постыдно боюсь?

А вдруг она спасала не нас? Не столько нас, не меня... сколько их, раненых! РАНЕННЫЕ! Вот в чем смысл всего, что случилось! Ведь мы должны прежде всего спасти раненых! Это долг врача, священный долг, the Duty! Машка – христианская сестра милосердия, и она спасает раненых, а ты врач и должен думать о раненых, а не о своей жизни, не о своей

чести, не о своей бабе, только о раненых, об этих индусах, птицах Божьих, спасти их... все перенести, все стерпеть, но спасти этих раненых!

Вот новый день, когда проверяется твоя сила, твоя вера, твоя личность... сейчас все они, твои тени, и Толька фон Штейнбок, и Саня, и доктор Мартин от ледяных сопочек Сорок Восьмого года, смотрят сюда, и ты подумай хорошенько, но времени для раздумий не было.

Через коридор, по которому увели Машку, донесся до нас вдруг лай крупнокалиберного пулемета, потом раздался оглушительный звон стекол, посыпалась вся прозрачная стена операционной, и мы словно избавились от глухоты.

Двор госпиталя был заполнен оглушительным воем, клекотом и свистом, сквозь шум этот даже пулемет продирался с трудом. Наемник-негр лежал возле помоста Метамунгву. По меньшей мере десяток стрел торчали из его тела, но он еще ворочался. Из плеча пулеметчика тоже торчала стрела, но он продолжал крутить турель и поливал пулями весь госпиталь, в окнах которого там и сям мелькали сражающиеся пигмеи.

Надо сказать, что трупы пигмеев лежали повсюду вокруг опустевшего священного помоста, под которым сидели, обхватив руками головы, наши механики Олафссон и Веласкес, но, несмотря на страшные потери, племя не прекращало борьбы.

Мы с Патриком, не сговариваясь, выскочили в коридор. Далеко впереди вдоль ослепительно белых стен неслись к выходу две широченные стены в маскировочных пятнах. Я ударил ногой наугад какую-то дверь и угадал: в просторном кабинете тихо стояла у стены совершенно голая Машка, а по полу ползал, лихорадочно собирая свою амуницию, блондин Ян со спущенными штанами.

Увидев нас, он упал на бок, схватил гранату и уже выдернул было из нее чеку, когда Патрик прыгнул ногами вперед и въехал ему прямо в рожу. Он не сразу сдался, этот гнусавый суперсолдат, но нас было трое вместе с его спущенными штанами, и спустя некоторое время Ян обмяк, язык вывалился, глаза закатились. В подсумке у него нашлась пара наручников, и Патрик с удивившей меня ловкостью защелкнул их на его запястьях. Что касается меня, то я очень деловито, с неизвестно откуда взявшейся сноровкой обмотал ему ноги шнуром от шторы. Потом мы откатали его тело к стене и только тогда вспомнили про Машку. Она сидела в углу, опустив голову на колени. Плечи ее тряслись. Мы подняли ее.

– Мальчики, мальчики, – плакала она и доверчиво тыкалась носом то мне в грудь, то Патрику. Что с ней было? Мне стыдно было спросить, и – вот странность – престижные мужские соображения отлетели весьма далеко, я вдруг почувствовал, что наконец-то думаю только о ней, а не о себе. Вдруг заныл очнувшийся блондин:

– Чуваки, кончайте меня! Шнобель, стрельни мне в пузо! Нет больше жизни Яну Штрудельмахеру! Оскандалился Штрудельмахер, облажался! Баб не видел года четыре! – Он скосил кровавые глаза и посмотрел на пластиковые обои, на коих висел солидный сгусток его секрети. – Едва до помидорчика дотронулся, как сразу облажался. Шнобель, стрельни!

Мы с Патриком переглянулись. Ян Штрудельмахер – ты помнишь его? Еще бы не помнить это имя! Мы с Патриком улыбнулись друг другу – так вот откуда явились эти трое, Ян, Теодор и Филипп!

Когда-то всей шарагой командовал шведский капитан, он провел ее через слякотную промозглую Европу, а едва забрезжил рассвет, построил всех на вершине холма и шпагой показал в низину, где лежал чистенький городок, словно торт с цукатами.

– Соскучились по шахне, исчадия ада, шваль подзаборная? – демократично спросил капитан, отпрыск княжеского полярного рода.

– Так точно, товарищ капитан! – нестройно завопил отряд.

Вниз с холма тянулись ряды сливовых деревьев, и хевра с тихим воем устремилась по этим сливовым аллеям к добыче. Рассветный луч осветил крест на башне костела, а городок еще весь был погружен в синюю дрему. Он еще и не подозревал, какой ужас скатывается на

него с вершины холма. Ян Штрудельмахер с алебардой на плече бежал быстрее всех, вечно он торопится... а капитан шел медленнее всех и презрительно кривил губу – псы, стервятники, грязные хамы, но что поделаешь, если тебе нужен этот городок как стратегический пункт, а других таких солдат не сыщешь во всей Европе. Он, конечно, и не подозревал, что на исходе этого дня пьяный Штрудельмахер вспорет ему живот в подвале графского дома.

Тогда старшина Теодор сел в кресле, хуякнул по дубовому столу и сделал заявление:

– Его сиятельство, князь Шпицберген погиб в герой-ском поединке с предателем графом Розбарски. Командование беру на себя. Тащите сюда суку-графчонка, космополита недорезанного, сейчас мы его научим родину любить!

Вот еще и тогда я его узнал, узнал его горячие вишенки-глаза под булыжником лба, глазки, что горели предвкушением допроса, что отражались повсюду, во всех стрельчатых окнах, а из окон, обратно, в значке «ворошиловский стрелок» на полной груди и в пряжке реквизированного графского плаща.

Приволокли полуживого графа, Теодорус поднялся ему навстречу, как настоящий профессионал, все, конечно, с интересом наблюдали, подошел очень мягко, склонился задумчиво, подышал, граф приподнял измученные очи.

– Что, Саня, бьют?

– Бьют, гражданин следователь.

– А так не били? – И всадил весь локоть в графское око, к полнейшему, конечно, восторгу молодежи. Графа уволокли.

Так вот же, вот же кто это такой, и нечего валять дурака, вспоминай все от начала до конца – и имя, и отчество, и фамилию, и звание, и нечего подобно подростку фон Штейн-боку искать убежища среди фанерных стягов вашей родины, среди ее гирлянд, снопов и шестеренок. Тогда увидишь квадратные плечи драпового боярского пальто, нелегкий поворот шеи над мелким каракулем и появление черненького веселенького глазка победителя-снисходителя.

– Чего реवेशь, пацан? Бу-дешьчестнымгосу-дар-стwowозь-метна-себявсезаботыпо-вос-питани-юунасче-ловекникогдане-пропадае-тза-искл-ючением дерьма!

* * *

Дым неожиданного воспоминания разъедал глаза и мешал вспомнить все до конца, до мельчайших деталей и полностью все реальные имена, а тут еще отвалился угол комнаты, и сквозь языки огня нам открылось поле боя. Броневи́к разъезжал по всему двору и спокойно уничтожал медицин-ский персонал и пигмеев, а также сжигал и разрушал по-стройки. Гремела музыка: мерзавцы прокручивали на ходу через проигрыватель модную в том сезоне песенку Фрэнка Синатры *Stranger in the night*. Филипп, хохоча, крутил турель пулемета, а Тедди с неясной ухмылкой выпускал из портативного огнемета струи горячей смеси. Третий, водитель крутил баранку и то и дело прикладывался к бутылки метилового спирта, которую ему приволокли из госпиталя друзья. Все трое подпевали Синатре на свой лад:

*Стукачи в ночи
Пока не дремлют,
Тихо, как сычи,
Копают землю.*

Ну вот, пришла минута прощаться. Ну, мистер СЮ! Ну, товарищ ЮС! Ну, мальчики... Флаги ЮН!

Патрик стащил с ноги Штрудельмахера кованый башмак и шагнул к краю провала, я снял со стены саксофон (по всем законам драматургии в пустом медицинском кабинете висел саксофон, который должен был сверзиться на чью-нибудь голову) и тоже шагнул к краю провала. Броневик, конечно, притормозил прямо под нашей развороченной комнатой.

– Пока, – сказали мы все трое, подразумевая этим словечком, что разлука будет недолгой. Потом мы с Патриком ухнули в броневик, и я со всего размаху засадил саксофоном по голове Теодорусу, а Патрик ударом башмака отправил Филиппа в туристическую поездку к берегам Стикса.

– Еще хлебнете, мужики? – с этим вопросом шофер Масляное Рыло повернулся к нам и даже удивиться не успел, полетел вслед за друзьями в соседние сферы.

Нога его, однако, ушла к педали газа, а руки конвульсивно задергались на руле. Словно озверевший носорог, броневик пробил стену и помчался по комнатам внутри госпиталя. С грохотом, с треском разламывались и разваливались палаты, перевязочные, кладовые и кабинеты этого еще вчера столь прекрасного сооружения. Наконец мы ворвались в библиотеку, полки с книгами поехали в разные стороны, а на меня с большой высоты полетел энциклопедический словарь на букву «Д». Перед ударом том раскрылся, и я успел заметить славную, в бакенбардах физиономию Чарли Дарвина, который, конечно, никогда не подозревал, что внесет такой большой вклад в дело воспитания нового человека в России.

Очнулся я в красивых дымных сумерках. Догорали руины госпиталя. Вокруг помоста Метамунгву тихо бродил черный мерсенер, пробитый десятком стрел, словно Святой Себастьян. Он спотыкался о трупы, галантно расшаркивался «сорри, мадам», что-то напевал, прищелкивал пальцами, тихо смеялся каким-то своим мыслям. Наконец он облокотился о помост и спросил сидящего в дальнем углу грифона:

– Я извиняюсь, здесь цветных обслуживают?

Должно быть, им овладела предшоковая эйфория, и ему казалось, что он в каком-то злачном месте.

Вот я все видел правильно. Отчетливо видел грифона с жилистой голой шеей и с отвратительным красным наростом под клювом. Грифон ничего не ответил истекающему кровью черному ландскнехту. Возможно, он думал, обслуживают ли здесь грифонов.

Я видел немало птиц вокруг. Вдруг шумно пролетела розовая стая фламинго. Куда они летят? Нетрудно догадаться, в детство, в страну филателистов.

Затем на развалинах мусорного коллектора меланхолично появились два прокурора в отставке, птицы марабу.

Чудом уцелевшая в побоище курица-мать Пегги вела высиженных ею крокодилят на вечерние купания.

– Эй, кореш, очухался? – услышал я слабый голос и увидел, что к капоту броневика привалился не кто иной, как Ян Штрудельмахер. – Хочешь хлебнуть? – Закованными в собственные наручники руками он протянул мне бутылку метилового спирта с эмблемой смерти на этикетке.

– Как вы его пьете? – спросил я. – Ведь от него нормальные люди слепнут.

– И мы слепнем, – смиренно улыбнулся Ян. – Но если в него поссышь, пить можно. Слепнешь, конечно, немного, но не совсем, не навсегда. Вот сейчас, например, я тебя вижу.

– Ну, давай. – Я взял у него из рук бутылку и хлебнул. Запах был отвратительный, а вкуса никакого.

– Пей, Генок, и зуб на меня не держи, – сердечно сказал молодой подлец Штрудельмахер.

– Ты хочешь сказать, что мы здесь все свои? Хер тебе! – сказал я, но оторваться от зловонной бутылки уже не мог.

Вдруг кто-то шевельнулся подо мной и недовольно закричал:

– Ишь, хлещет! Между прочим, рядом с тобой тоже люди лежат.

Это был Филипп. Я протянул ему бутылку, и он весело заклокотал, сразу позабыв обиду. Вскоре очнулись и остальные: Тедди, Патрик и шофер Масляное Рыло.

– Сейчас я вам еще метилки приволоку, – изъявил желание Ян Штрудельмахер, упал на землю и довольно быстро покатился к руинам госпиталя.

– Я смотрю, и среди наемных шакалов есть люди, – сказал я, – но вот вы, Теодорус, мне активно не по душе.

– Взаимно, – буркнул тот и бесцеремонно перелез через ногу Патрика.

– Осторожнее, хамюга, – сквозь зубы рявкнул Тандерджет.

– От хамюги слышу, от хамюги слышу, от хамюги слышу, – завизжал старшой, словно торговка битой птицей на Привозе.

Шофер Масляное Рыло блаженно потянулся:

– Кончайте лаяться, мальчики! Сейчас я вам горяченького врежу!

Он включил проигрыватель. Двор огласился бодрящим маршем «Шестнадцать наций» в исполнении «Битлов». Под эти звуки из какой-то дыры вылезли и построились остатки племени пигмеев. Потрясая своим сокрушительным оружием, они продефилировали вокруг помоста своего пропавшего божества. Кажется, они праздновали свою всемирно-историческую победу.

Затем появилось колченогое воинство ООН, еще не вполне оправившееся от наркоза. Они построились вокруг флагштока, к которому подошел профессор Аббас с газетой «Русские ведомости» в руках. Как всегда, при виде такого трогательного международного сотрудничества я расплакался.

– Не плачьте, товарищ Малькольмов, – ободрил меня Аббас. – Лучше послушайте, какие обнадеживающие новости. – Он стал читать газету гулким голосом: – Прогрессивная общественность мира гневно осуждает бандитское нападение империалистических наймитов на госпиталь Организации Объединенных Наций в Катанге. Рабочие и инженерно-технический состав московской фабрики «Сиу и сыновья» единодушно клеймят происки сионистской агентуры. Донбасс. Трудящиеся Юзовки, Горловки, Луганска на общегородских митингах единодушно заявляют: руки прочь от пигмеев Метамунгву и других свободолюбивых народов Африки! Как видите, господин Малькольмов, в вашей стране по-прежнему царит полное единодушие.

– А вы бы как хотели? – с оттенком непонятной гордости пробурчал «старшой» Теодорус. – Единственная нормальная страна.

Подумав, он зааплодировал своими железными ладонями. К аплодисментам тут же присоединились Филипп и Масляное Рыло. Затем явился с аплодисментами и Ян Штрудельмахер. Удивительной цепкости молодой человек полз к броневику, толкая носом здоровенную бутылку метилового спирта и бурно аплодируя, невзирая на наручники. Вскоре весь двор уже, все уцелевшие аплодировали кто чем может, вечер завершился бурными несмолкающими аплодисментами, переходящими в овацию. Последним сдался самый ярый борец против тоталитаризма Патрик Тандерджет. Взметнулись в аплодисменте руки вольнолюбивого баскетболиста.

– Видишь, Патрик, у нас у всех есть что-то общее, – многозначительно сказал ему Штрудельмахер.

– Хуй в кармане, блоха на аркане! – рявкнул в ответ американец на жаргоне университета Беркли.

Во дворе появилась любопытная парочка – богиня Метамунгву и вождь племени старичок Кутсачку. Богиня плыла на высоких каблуках, пышные ее бедра облегла юбочка «чарльстон», на голове прическа «Грета Гарбо». Вождь облачился в лимонно-синий клетчатый пиджачок и пожелтевшие от времени гамаша. Что-то щемящее, волнующее, романтическое.

ское было в этой ужасной парочке, в этих призраках «веселых двадцатых», тех времен, когда надежды еще витали над европейским континентом, словно Новая Экономическая Политика.

– Господа, мы с мужем пришли попрощаться, – сказала Метамунгву на вполне приличном английском. – Большое спасибо за все!

– Сматывается, Элен? – спросил Патрик.

– Да, мистер Тандерджет, мы улетаем в Женеву. Думаем открыть там парикмахерский салон.

– Хватит, погорбатили на этих пигмеев, внесли свою лепту в развитие цивилизации, – загундосил старичок Кутсачку. – Пора и о себе подумать.

– Прощай, моя Африка! – сентиментально воскликнула бывшая богиня и прислонилась щекой к помосту, на котором провела без малого сорок лет. – Мне будет многого не хватать там в Женеве. – Она метнула лукавый взглядик-«косячок». – Не забывайте, господа!

– Масляное Рыло, включи что-нибудь подходящее к случаю, – распорядился Теодорус.

– «Новая серая шляпа» в исполнении Кида Ори, сорок четвертый альбом национальной фонотеки, – очень просвещенным тоном, словно какой-нибудь ленинградский всезнайка, объявил Масляное Рыло.

Под дребезжащий диксиленд бутылка метилки подплыла к моему рту. Затем в поле зрения выплыл том энциклопедического словаря. С целью проверки оставшихся сил я взял том и саданул им по темени «старшому». Ребята, конечно, развеселились.

– Эх, если бы члены мои двигались, – проворчал Теодорус, – показал бы я вам, паразиты, как смеяться.

– Пока что слушай, грязный Спарафучилле, – сказал ему Патрик, – пока у тебя члены не действуют, набирайся ума, благородства, человечности. Генаша, прочти нам со страницы тридцать пятой, строка восьмая сверху. Тише, ребята! Что будет, что будет? Страшно подумать! Геннадий, читай!

Левым глазом я увидел, как по тлеющим углям госпиталя прошла босыми ногами Машка и встала на раскаленном крыльце. Она была совсем голая, и по телу ее прыгали, словно синие бесенята, огоньки. Правым глазом я увидел, как под лупой, огромные буквы и начал их читать:

– Дюгонь, морское млекопитающее, точнее, корова, в настоящее время почти полностью истреблен прогрессивным человечеством...

Машка спустилась с крыльца и пошла ко мне. Все ближе и ближе подходила она и вдруг пропала.

– Левый глаз у меня ослеп, – сказал я.

– Ничего, читай правым, – сказал Ян Штрудельмахер. – Патрику ты здорово прочел, а теперь мне почитай. Сто пятнадцатая страница, а строчка восьмая снизу.

Действительно, правый глаз у меня еще видел отлично.

– Последний представитель семейства дюгоней проживает в настоящее время на свободной территории Северного Ледовитого океана, ноль градусов широты, все градусы долготы... – читал я, как вдруг буквы пропали и прозрел левый глаз, который увидел совсем рядом яркие ягодные губы Машки, детский ее нос и материнскую тонкую шею. – Вот чудеса, правый глаз у меня отказал, – сказал я Машке.

– Ничего, ничего, милый, – прошептала она, – Бог с ним, с правым глазом! Главное, что левый работает, а значит, мы видим друг друга.

– Но дюгонь, Маша, дюгонь! – вскричал я и расплакался, как ребенок. – Воображаешь, он лежит на Северном полюсе, на самой шпильке, и млеко питает все человечество, последним своим млеко! Ты понимаешь, Маша?

– Понимаю, Генаша...

Вдруг левый глаз мой погас, исчезла моя любовь, а в правый глаз влез майор внутренней службы, товарищ Чепцов (как ярко вдруг вспыхнуло – Чепцов, Чепцов), товарищ Чепцов в солидном штатском костюме.

– Читайте теперь мне, – сказал он с официальной безразличностью.

Ох, как не хотелось мне ЕМУ читать!

– Брокгауз и Ефрон запрещены, гражданин следователь, – промямлил я.

– Знаем не хуже вас! – рявкнул он. – БэСэ читайте! Читай, ебать! Читай, блядь! Патрику сраному прочел? Младшему лейтенанту Яну Штрудельмахеру прочел? А мне, курва, не хочешь? Прочтешь, я своего не упущу!

Он ткнул мне в нос раскрытую книгу и применил один из «методов активного следствия», кажется зажал в тиски мошонку. Тогда я, конечно, охотно стал читать:

– Дюгонь. Впервые разработан и изучен великим вождем народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным в непримиримой борьбе с Львом Давыдовичем Бронштейном. Великий зодчий прогрессивного человечества впервые установил, что Д. принадлежит рабочему классу, потому что он (Д. – *ред.*) принадлежит крестьянству. Его величество, знаменосец мира во всем мире генералиссимус с головой ученого, телом философа, в одежде простого кентавра...

Чепцов рядом сопел и иногда взвизгивал, подходя к порогу оргазма и всякий раз отодвигая сладостный момент.

Вдруг буквы пропали, пропал и Чепцов. Поначалу я обрадовался, что ослеп на правый глаз. Я надеялся, что теперь заработает левый и я снова смогу увидеть Машку, но дни шли, а я был слеп на оба глаза.

* * *

Плач мадмуазель Мариан Кулаг

Ах, где ты, родина-неродина, далекая и нежная, метельная и снежная, в куличиках, калачиках... поплачьте-ка!

О чем ты? О палачиках? О пальчиках? Ах, Геночка!

Расскажи мне об этой далекой неродине, где я еще не была, а только лишь слушала в Париже ее посланцев, стихотворцев и скрипачей

ах нет, ах нет, не палачей!

таких спортивных мальчиков

да нет же, не канальчиков!

березовых, весенних мальчиков России, моих мальчиков, что живут на огромных просторах моей неродины вдали от всего мира...

Ты слышишь колокол? Это Воскресенье! Христос воскрес!

Воистину!

Так расскажи о мальчиках, угодных Богу зайчиках неведомых мне мальчиках, таинственных и нервных, женатых сплошь на стервах

по пятницам в Париже весенней пахнет жижей

Ой, говорят, они там у вас все страшно ученые, такие эрудиты, просто страшно, но почему же тогда рабы, почему трусы?

Ах, елки, елки колкие,

Скажите, как мне жить?

*Могла бы комсомолкою
По родине ходить.
Ах, дедушка-голубчик,
Гвардейский офицер,
Зачем ты стал, голубчик,
Врагом Эсэсэсэр?
Куличики, калачики, дешевый кренделек, и петушок на палочке,
и бабушка в окошечке, и Лавры купола – ведь так ведь ведь так?
А ты говоришь, она вся в гусеницах, в грохоте, в мазуте и
солярке... Ты говоришь – на троих, говоришь, полбанки... кес
ке се?.. Ты говоришь – фрей с гондонной фабрики и курва с
котелком... кес ке се, кес ке се? Геночка, ответь, скажи хоть
слово! Кес ке се «пистон поставить»?
...Огромная, пустынная, холодная, поземка, поземка по всей ее
широте... Геночка, почему ты молчишь?*

* * *

Когда-то Машка, христианская сестра милосердия, привезла нас с Патриком в Женеву из Африки под видом братьев, потерявших разум и речь от укуса какого-то сверхъядовитого сверхорганизма. Швейцарскими сливками и шоколадом она отпаивала нас день за днем. Вскоре мы начали ходить и поступили на службу в Европейский институт экономических исследований при Общем рынке, что раскинул свои шатры на границе кантона Гельветии и республики Франсе. Говорить мы начали еще не скоро, но заработали кучу денег. Так и не перебросившись словечком, мы однажды расстались: Машку вызвали на эпидемию в Курдистан, Патрик улетел в Штаты вербоваться в команду астронавтов, а я переотovarился на сертификаты и вернулся в Москву, богатый, славный, многозначительно молчаливый. Вот лучший жених Москвы – говорили обо мне в ту пору.

Между тем черная дипломатическая «Импала» продолжала нестись на бетонную ногу гостиницы «Минск». Оставались какие-то микроны до гибели, когда водитель вдруг чихнул и чуточку сдвинул в сторону серворуль. Машина проскочила мимо столба прямо на улицу Горького, пересекла сплошную осевую, провалилась в подземный переход, рыча словно трактор, вылезла из него на другой стороне, вновь ринулась на центральную магистраль столицы, крутанулась перед потоком транспорта на 360 градусов и тогда уже спокойно по-ехала к «Националю». Никто не пострадал, кроме постового регулировщика Щелгуна, у которого после этого случая на допросе в райотделе джи-би началась сильная икота.

* * *

Донесение внештатного сотрудника Городского управления культуры «Силиката» из валютного бара гостиницы «Националь»

(Донесение перемежается внутренним монологом «Силиката»)

Дорогие товарищи! 32 мая в 0 часов 98 минут я, «Силикат» (Л.П.Фруктозов), нес вахту в распивочной точке свободноконвертируемой валюты «Националь». В зале находились: шведский специалист по бумажной промышленности, господин Магнусон, сенегальский князь Жозеф Калибава со своим слугой Пьером Плей (оба студенты Университета им. Патриса Лумумбы), три финских хоккеиста из команды профсоюза упаковщиков города Турку,

больше никого. Вахту несли: капитан Диомидов («бармен Петя»), старший лейтенант Кривоzubова («официантка Нюра»), лейтенант Бахрушин («художник Цадкин»), старший сержант Гагинадзе («спекулянт Эдди») а также лейтенанты Сомова, Ломова и Фильченко («девушки Нина, Инна, Тамара»).

0 часов 104 минуты. Внезапно с шумом распахнулись двери, и на пороге появился известный в Москве подозрительный элемент-интеллектуал-творческое лицо неопределенных занятий – мой близкий друг – фамилии не помню – по кличке «Академик», как его зовут в пивнушке «Мужской клуб», что на свежем воздухе возле Пионерского рынка в Тимирязевском районе. Вместе с ним явились: Клара Хакимова, студентка МГУ, первый курс филодендронфака, некая Мариан Кулаго, сожительница Академика и подданная кантона Гельвеция, а также огромный иностранец по имени Пат, которого по одежде можно было вполне принять за советского гражданина.

Академик тут же устремился ко мне и сразу же рассказал мне три политически-двусмысленных анекдота: анекдот «брови» (1794/ 0040), анекдот «мясо» (8805/1147), анекдот «компьютер» (9564/ 2086).

*Когда он вошел, все так во мне и затрепетало!
Кумир мой, любовь моя, сладость ты наша российская!
Был бы я бабой, из-под тебя бы не вылезал!
Сволочи, сучки, шпионки, прочь от сокола!
Да почему же это органы так долго бездействуют?
Отрок ясноглазый, заставка богатырская!
В тебе надежда державы нашей и народа измученного!
Знакомьтесь, друзья, сказал мой сокол степной парящий и показал на меня.*

*Перед вами небесталанный поэт Фруктозов!
Ишь прищурилась азиатская сучка: валютный поэт Фруктозов?
Что вы, что вы, забрел сюда случайно, а доллары мне Фирлингетти оставил для поддержания таланта, у них ведь там особый фонд.
Врете, знаем, кто вы такой, весь университет знает!
Академик дорогой, не верь паршивой бабенке, не верь, сокол ты наш русский! Между прочим, слышал новинки?.. и тут же в темпе, чтобы не перебили, нашептал «брови», «мясо», «компьютер».*

Как широко он рассмеялся, Микула наш Селянинович, и с русским своим благодушием повернулся к стойке, наш национальный шедевр:

– Петенька, привет! Нюрочка, салют! Девочкам с кисточкой!

Цадкин, хелло! Эдди, гагемарджос! Князь, здорово! Господин швед, да здравствует бумажная промышленность! Друзья, не будем друг друга подозревать! Ведь эдак вся Россия может скатиться до мании преследования! Нюра, всем джени-тоник за мой счет! Петя, выключи проигрыватель, сейчас стихи будем читать! Фрукт, прочти что-нибудь короткое!

Пожалуйста, всегда наготове что-нибудь небольшое. Синева синева синева дожди косые мурава мурава это мать моя Россия эх какому чародею отдала свою красу басурману иудею или Лебедеву псу?..

Кто это Лебедев? – вскричали дамы.

Это поэт есть такой, на самом деле совсем не Лебедев, вражья кость. Неплохо, Фрукт, в общем-то крепко, и по Лебедеву ударил смело.

Таково мнение сизокрылого, а иудея, между прочим, он и не заметил, значит, врут, что в нем еврейская кровь. Конечно врут!

*Мы его жидам не отдадим!
И тут он сам стал читать. Сначала тихо струился голос его,
как талая вода под коркой мартовского снега, потом пробился
фонтанчиком, миг-два, и вот уже раскатился новгородским
колоколом, и зашатались подлые валютные стены, в коих загубил
Фруктозов свой талант и душу живу.*

* * *

0 часов 142 минуты. Академик начал читать десятиминутный стих под названием «Угар». Магнитная запись сделана старшим лейтенантом Диомидовым. Со своей стороны хочу указать, что стихотворение «Угар» представляет из себя слегка замаскированный эзоповым языком намек на якобы угарную атмосферу в нашей стране.

Дополнительные сведения. Во время исполнения стихотворения господин Магнусон подсел к Мариан Кулаго и попросил у нее любви. Кулаго назвала сумму тысячу долларов (one thousand dollars). Это слишком дорого, возразил швед. Ничего не поделаешь, такова цена, ответила Кулаго, после чего Магнусон вернулся к своему столу.

Иностранец Пат несколько раз пытался прервать чтение, ругался на калифорнийском жаргоне, говорил, что ему надоели эти вечные русские стихи «с подъебкой», и все время руками приставал к студентке Кларе Хакимовой. Думаю, что иностранца Пата можно отнести к разряду идеологических диверсантов, а гражданка Хакимова определенно созрела идти на поводу у реакции.

* * *

*Слезы душили меня.
Замолчите вы, иностранец ничтожный, помидорный
голландец!
Разве понять вам нашу боль, наш угар, курную избу нашей
русской души?
Гений ты наш, позволь я встану перед тобой на колени!
Нет, нет, позволь!
НЕ ТРОГАЙТЕ!
Смотрите вы, промышленники, князья, субретки,
небесталанный Фруктозов на коленях перед гением!*

Хочу указать также, что расплачивался Академик чеками Внешторгбанка и английскими фунтами, а откуда они у него взялись – не секрет: подачки ЦРУ через журнал «ВОГ».

Затем произошло следующее. Господин Магнусон вернулся к нашему столу и сказал Мариан Кулаго, что он согласен. Та ничего не ответила, потому что смотрела на Академика. Последний танцевал танго с «девушкой Тамарой» (мл. лейтенант Фильченко). Он громкогласно провозглашал якобы божественное происхождение ее красоты и ума. Она (Фильченко) якобы послана ему в награду за духовные муки истекшего десятилетия, только она осветит ему остаток его дней, ибо она раскрыта для любви, как цветущий бутон лотоса.

Уважаемые товарищи, смею поставить под сомнение полезность контакта Академик – Фильченко. По моим наблюдениям и мнению ряда наших товарищей, Фильченко отличается

неустойчивым характером, придает слишком большое значение своим внешним данным и может легко пренебречь служебным долгом ради эротики.

*Проклятая кукла лупоглазая обнимает солнце мое!
Погоди, я устрою тебе желтую жизнь!
Академюша, да неужели во веки вечные не притронусь я
к твоему жезлу?!
А вот паду в ноги ему и расскажу все, что знаю про Тамарку!
И всю любовь свою выплачу ему в колени.*

* * *

Дальнейшее подтвердило мои предположения. Хакимова самозабвенно танцевала с хиппообразным иностранцем Патом, с господином Магнусоном и с финскими хоккеистами, а на приглашения князя Калибавы отвечала презрительным отказом, что говорит о ее расовых предрассудках. Спецслужба сделала ряд снимков. Магнусон напомнил Кулаго, что принимает ее цену. Та вновь ему ничего не ответила и даже не обратила внимания на десять столетних банкнот, номера которых мне записать не удалось, так как в этот момент слуга Пьер Плей стал бить по щекам своего господина, и я знаю за что, но это наше внутреннее дело. Кулаго между тем заплакала и стала шептать целый ряд мужских имен: Самсик, Гена, Арик, Радик, Пантелей... какое обилие мужчин, какая наглость! Господин Магнусон вынул тогда из внутреннего кармана брюк еще один доллар (запасной?) и стал размахивать всей этой внушительной массой свободно конвертируемой валюты, крича:

– Тысяча и один доллар за одну ночь! Да здравствует сексуальная революция! Долой бумажную промышленность! Мао грядет! Ты готов?

* * *

*Отчего вы плачете, Кулаго?
А вы, Фрукт?
У нас общий предмет плача.
Я уже догадалась. Давайте обнимемся и поплачем вместе!
Что ж, давайте обнимемся.
Вы чувствуете, Фрукт, что я без бюстгальтера?
Я тоже без бюстгальтера, Маша.
Скажите, Фрукт, когда моя грудь упирается в вашу,
неужели вы ничего не чувствуете?
Чувствую эротическое возбуждение, Кулаго.
Значит, вы всеядны? Браво! Браво!
Маша, вы поймите, любовь моя к Нему имеет примесь
гражданского чувства, и жезл его для меня частично символ,
некто вроде булавы Богдана Хмельницкого или
Петропавловского шпилья.
Ах, сказала она, я не умею так поэтически преувеличивать,
и для меня это просто Его хуй.
Кулаго, прошу вас, давайте разомкнем наши объятия.*

*Мне впору удавиться, а у вас одни пошлости на уме.
Катитесь, паршивый Фрукт! Не знаете вы ничего. Я от него
могла бы уже иметь трех детей, дорогой Фрукт, —
пятилетнюю Леночку, трехлетнего Мишу и годовалого
Степochку...
Вам ведь такое даже и не снилось в вашей
«голубой дивизии»!*

* * *

Ночь, уважаемые товарищи, завершилась обычным для гражданки Кулаго валютным скандалом с битьем посуды и криками «проклятая страна», «рабы», «люблю вас всех», «умрем на одной помойке» и так далее. Подписав чек «Лион-ского кредита», Кулаго заснула в объятиях голкипера команды «Пожиратели дыма из Турку» и была унесена им в гостиницу в 0 часов 390 минут.

Академик и его друг Пат еще раньше, а именно в 0 часов 380 минут, покинули бар с девушками Хакимовой и Фильченко. Последовать за ними «Силикат» возможности не имел, поскольку был уведен господином Магнусоном для серьезной беседы, о которой будет сообщено дополнительно, а старику Потапченко из туалета № 17 прошу не верить.

С глубоким уважением
внештатный сотрудник ГУК ЛЛ.Фруктозов, поэт

* * *

...Она была удивительно хороша. Конечно, я знал, кто она такая, но все-таки как она была хороша! Она спускалась впереди меня по гнусной лестнице желтого потрескавшегося мрамора со стертыми, как дореволюционные столовые ножи, ступенями. Лестница эта будто бы вела не в гардероб и из него на ночную улицу, а в душную мыльню, где подмывают больных старух, или стирают белье осажденного полка, или обмывают трупы, или варят мыло из бродячих собак, или выпиливают гребни из берцовых костей... но вот она остановилась на этой лестнице, поджидая меня, обернулась с улыбкой, и весь ее милый изогнутый силуэт, и гладкая птичья головка с большими украинскими глазами, и тонкая рука, которая при этом движении почему-то легла на вычурную вазу в нише... ниша с вазой и купидоном!.. и вдруг гнусная мыльня выветрилась из сознания, в памяти возникло волнение, и весь этот миг с его жестом, светом и звуком прервал мне дыхание, и ты вспомнил, как

*Мелкий лист ракушечника
С седых карпатид
Спадал на сырость плит
Осенних госпиталей.*

...Был осенний, холодный и прозрачный, катящийся к закату день, когда сквозь пожухлую листву бузины я вышел к разрушенному дворцу и прошел под аркой, на которой еще уцелело изречение PRO CONSILLO SVO VIRGINUE. Я оказался на плитах, меж которых торчали пучки рыжей травы, а наверху на балконах с обнажившейся арматурой росли даже

кустики. Я оказался в этом углу запустения, уединенной юдоли, земной глуши, жизни, разрушенной в некоторые времена. Но, как ни странно, убожество разрухи и даже смерзшиеся кучки кала, отбитые носы и половые железы античных статуй не вызывали презрительной жалости и не унижали глаза. Некогда шумный и богатый дом вот уж столько десятков лет жил в смиренном, но гордом умирании, в достоинстве, которое неподвластно никаким варварам и никакой взрывчатке, и, наверное, каждый год в эту пору какой-нибудь четырнадцатилетний мальчик вроде меня выходил сквозь пожухлые листья бузины на мраморные плиты, и у него кожа покрывалась пупырышками от волнения. Он видел сквозь пустые окна и провалы крыши прозрачное осеннее небо с летящим багряным листом и понимал, что дом обещает ему его будущую жизнь, и вот этот поворот к нему длинной тонкой фигуры, гладкой птичьей головки с огромными украинскими глазами, и только Бог знает, что еще обещает и о чем напоминает ему этот разрушенный и заросший бузиной дом на пороге юности.

– Куда мы отправляемся? – спросила Фильченко.

– Ко мне в мастерскую, – машинально ответил Хвастищев.

Она тут усмехнулась, и усмешка эта кривая вмиг развеяла очарование и напомнила Хвастищеву, что он зверски пьян, что он хлыщ, гуляка, гнусный тип, а с ним валютная шлюха, стукачка, оторва Тамарка.

– Лепить, что ли, меня хотите? – снова усмехнулась она жалко и вульгарно, с полной покорностью, но в то же время и с недобрый полицейским смыслом.

Откуда же возник тот миг и образ дворца и неужели в душе Тамарки ничего не шевельнулось, когда она ТАК обернулась и ТАК положила руку на вазу?

– Молчи, Тамарка, поменьше спрашивай, – грубовато сказал Хвастищев, взял девушку крепко под локоть и повлек в гардеробную, словно строгий муж подгулявшую супружницу.

В гардеробной валютного бара происходила какая-то дикая сцена. Две очень объемистых, но проворных задницы, окаймленных серебряными галунами, сновали взад и вперед по полу. Так, должно быть, по ночам в подземных штабах снуют по меркаторовой карте мира вдохновенные ядерные генералы. Возле зеркала в задумчивой позе, словно Принц Датский, с Кларой на руках стоял Тандерджет. Девушка то ли спала, то ли была в обмороке, и ее кривоватые ножки в сморщившихся чулках беспомощно раскачивались, словно сосиски недельной свежести.

– Что они ищут? – спросил Хвастищев, глядя на рыщущих гардеробщиков в голубой с позументами униформе.

– Золото, – равнодушно сказал Пат.

Старческие пальцы цепко хватали и рассовывали по карманам золотые кругляшки.

– Кларкино монисто, – сказала Тамара, – рассыпала, идиотка!

– Усе у пол ушло, к мышкам, – хихикнул один из гардеробщиков. – Паркетик-то сплошные щели, и то правда, двести лет отель без капитального ремонту...

– Встать! Страшный суд идет! – гаркнул Хвастищев и слегка поддел носком ботинка вторую генеральскую задницу.

Миг, и перед ним возникла внушительная фигура с величественным зобом, прозрачным ежиком волос и черными, полными застоявшегося сахара вишенками глаз. Еще миг, и Хвастищев его узнал, узнал, содрогнулся...

– Оденьте даму, – сказал он, борясь с дрожью и показывая на Тамарку.

– Так-так, – сказал гардеробщик солидно, покровительственно, пожалуй, даже с некоторым начальственным благоволением. – Кажется, передо мной небезызвестный товарищ Хвастищев, Радий Аполлинариевич?

– Откуда вы знаете? – Хвастищев растерялся, как растерялся когда-то тот жалкий магаданский школьник перед черной неуклюжей «эмкой» с зашторенными окнами.

– А вот прочел вчера в газете и сразу догадался. – С многозначительной улыбочкой гардеробщик отстегнул клапан кителя и извлек газетную вырезку с жирными буквами заголовка «Ответственность перед народом». – Ваше заявление, Радий Аполлинариевич. Первейший долг каждого художника, пишете вы, трудиться для народа, создавать возвышенные и прекрасные образы наших современников. Золотые слова, товарищ скульптор!

Он развернул перед Тamarкой ее макси-шубу на рыбьем меху, а сам все смотрел на Хвастищева, а тот прислонился к стене, дрожа от унижения и безысходной тоски.

У зеркала Патрик Тантерджет декламировал на ухо Кларе поэму Алена Гинзберга «Вой».

– Трудиться для народа, создавать возвышенные и прекрасные... – звучал в ушах Хвастищева голос страшного старика, вернее, не старика вот этого в холуйской униформе, а того, кого он узнал, кого уже вспомнил почти до конца.

– Хам, хам паскудный, – забормотал он, – сейчас ты увидишь, сейчас...

Тамарка приблизила к нему свои губы:

– Радик, не связывайся с ним. Он какой-то полковник, мы тут все у него на крючке.

– Как его фамилия? – спросил Хвастищев отважно и сжал Тамаркино плечо. Сейчас все выяснится. Сейчас все прояснится до конца.

– Шевцов, кажется, – сказала она. – Да, Шевцов.

* * *

...Черный мазутный поезд пронес свою дикую тяжесть в пяти сантиметрах от моей съездившейся плоти...

* * *

– А вы, молодые люди, кажись, и не раздевались? – хихикая, спросил второй гардеробщик. – There are not your coats, господа хорошие, – простонародный его голос странно грассировал на трудных перекатах.

– А этот чуть ли не генерал, – прошептала Тамарка, – но не страшный...

– Мы сюда еще весной пришли, – спокойно пояснил гардеробщику Патрик. – Мы еще весенние птички, папаша.

Хвастищев набрался смелости и посмотрел своему старику прямо в глаза. Тот не отводил взгляда: здесь, в валютном притоне, он чувствовал себя вполне уверенно.

В ухо ему надо плюнуть сейчас, подумал Хвастищев. Оттянуть двумя пальцами его жесткое ухо, этот настоящий мини-унитаз, и плюнуть прямо в кустик седых волос, в глубокую шахту, где за скоплениями серы трепещет не по годам чуткая мембрана.

– А вы, я вижу, здесь по совместительству? – начал Хвастищев.

– Нет, я там по совместительству, – любезно пояснил гардеробщик.

– Что ж, одной зарплаты вам не хватает?

– Нет, не хватает.

– Пенсия, значит, плюс две зарплаты? – глуповато ухмыльнулся Хвастищев.

Гардеробщик нахмурился.

– Вы бы лучше свои деньги считали, Радий Аполлинариевич.

– Можно мне посмотреть на ваш затылок? – спросил Хвастищев.

Тамарка испуганно вцепилась ему в рукав.

– Пойдем, пойдем, не заводись!

– Отчего же нельзя? – Гардеробщик четко повернулся через левое плечо. – Пожалуйста, затылок перед вами.

Хвастищев вынул блокнот и фломастер и сделал зарисовку ненавистного затылка.

– Великолепный затылок, – подумал он вслух.

– Как хер с ушами, – сказал Патрик по-английски.

– Повторите, пожалуйста, не совсем понял, – напряжился второй гардеробщик.

– Я хотел бы вас вылепить, – сказал Хвастищев. – Вы мой современник, и почему бы мне не создать ваш образ, возвышенный и прекрасный? Хотите позировать мне в моей мастерской?

– С орденами или с планками? – хмуро осведомился он, Шевцов.

– Непременно со всеми орденами! – воскликнул Хвастищев. – Вы на каких фронтах сражались?

– Я был бойцом невидимого фронта, Радий Аполлинариевич.

Второй гардеробщик деликатно покашлял:

– Кхе, кхе, а приглашение и на меня распространяется, милоч?

Три иноземных переката на «р» и гнусный фальшивый «милоч».

Ишь, маскируется как, собака-генералишко.

– Конечно-конечно, – кивнул Хвастищев, – милости просим, создадим и ваш, возвышенный и прекрасный.

Первый гардеробщик все еще стоял к скульптору затылком, и при этих словах две поперечные складки кожи сошлись, образовав лежащий на боку икс.

– Итак, до встречи! – сказал Хвастищев, уже предвкушая встречу и вечер милых воспоминаний. – А теперь разрешите отблагодарить вас за подачу пальто этой милой даме.

Ха-ха, хвастищевская десятка, встреченная двумя недоуменными взглядами, затрепетала беспомощно в воздухе.

– У нас тут не шашлычная, Радий Аполлинариевич, – строго сказал первый гардеробщик. – Енти деньги тут не ходють, милоч, – любезно, но со стальным блеском в глазах пояснил второй. – Only free convertible currency, голуба.

– Пат, пошарь в своих шкерах, – сказал Хвастищев другу, – может, найдется какая-нибудь валюта для этих чудовищ.

– Я не могу пошарить, у меня ребенок на руках, – сказал Патрик. – Я даже высморкаться из-за этого не могу. Шарьте сами.

Оба гардеробщика напряжились, как молодые, сделали стойку, глядя на Хвастищева.

– Шарьте! – махнул тот рукой, и они мгновенно ринулись к Патрику, один к левому карману его штанов, другой к правому.

– Рупия! – бормотал один. – Годится! Тугрик монгольский! Про запас! Сертификат бесполосный! Дело! Тревеллерс чек! Разменяем!

– Песо испанский! – шептал другой. – Потянет! Долларчик зелененький миленький голубчик! Марка, франк, франка, марк!

– Зачем вам валюта, полковник? – спросил Хвастищев.

– Дочке... – хрипел он, – дочке на фломастеры... она у меня... талант...

– Врет! Все врёт! – завизжал напарник. – Усе брешет про дочку! Что ему дочка! На «Жигули» копит!

– Ну-ка! – рявкнул тут Шевцов далеким знакомым молодым рыком, прилетевшим из той холодной страны, где не только свободно конвертируемая валюта, но и обыкновенные денежные знаки не имели хождения. – Ну-ка, сучка! – Он умело закрутил напарнику руку за спину, загнал его в угол и взялся там над ним мудрить. – А ты на что копишь? Ты на что копишь?

Хвастищев и Тандерджет некоторое время наблюдали за этой сценой. Шевцов мощно побряхтывал, а напарник его визжал непрерывным поросычьим визгом, но, как показалось пьяным гостям, не без некоторого удовольствия.

– Ничего, умеет, – одобрительно хмыкнул Патрик, – где-то я уже видел такую работу, вот такого орангутанга, но только не помню где.

– Я тоже не помню, – пробормотал Хвастищев. – Я знаю его отлично и видел где-то близко-близко... Может быть, в какой-нибудь другой жизни? Ты думаешь, я хитрю, Пат? Ты думаешь, я трушу? Смотри, я назову его первым попавшимся именем, ведь я не помню, как его зовут... Пока, Олег Владленович!

– Пока! – буркнул Шевцов, не прекращая своей сокровенной работы.

– Гуд лак! – на вершине болевого порога восторженно воскликнул его напарник.

Хвастищев и Тандерджет вышли из гостиницы и увидели с крыльца, как широким фронтом ползет поземка по ночной Манежной площади, услышали, как она свистит, как гудят троллейбусные провода. Еще они увидели над холодным и темным и сонным городом, над мрачными башнями Исторического музея, над всей этой неудавшейся Византией расплывшееся в морозных кольцах желтое пятно – наше последнее, последнее, ну конечно последнее, о Господи, наше последнее прибежище.

Положив Хвастищеву голову на плечо, горько плакала в ухо ему лейтенант его милый, Тамарка:

– Ах, Радичек-голубчик, и вы, товарищ Патрик, ах-ах, как стыдно...

– Да что ты плачешь, Тамарка?

– Ах, как стыдно мне за этих стариков! Всю нашу организацию позорят, сталинские выродки! Вы не думайте, товарищи, у нас далеко не все такие, и много даже есть прогрессивной молодежи. Непременно, непременно поставлю вопрос, вопрос на бюро, бюро...

– Не плачь ты, Тамарка! Хочешь на ручки, как Клара?

– Бю-бю-бю-ро-ро-ро, – бормотала она, засыпая на его плече, и веки ее, утомленные секретной службой, смыкались, и малороссийские очи погружались в гоголевскую ночь.

Он взял ее на руки, она была легка.

Хвастищев и Тандерджет медленно шли по пустынной Москве с девушками на руках. Поземка хлестала их по ногам, головы припорошивал снег, носы щипал мороз, но животам было тепло от женских тел и потому хорошо.

– Ах, чтоб мне провалиться на этом месте!

– Ну, что ты там кряхтишь?

– Да ведь я же назвал его по имени-отчеству, и он отозвался! Как я назвал его, не помнишь?

– Не притворяйся, старик!

– Клянусь, я забыл, все вылетело из головы. Клянусь памятью Тольки фон Штейнбока – ты помнишь, я тебе о нем говорил? Клянусь памятью золотоволосой Алисы – я тебе о ней рассказывал или нет?

– У тебя сейчас другая баба на руках.

– Ах да, прости. Слушай, я не могу успокоиться – где я видел этого старпера?

– Ты мне надоел! И этот мороз мне надоел, вечный союзник трудового народа. У вас надо пить в три раза больше. Я дико трезвею! В твоей лавке есть выпивка?

– Может, и есть полбутылки... не уверен...

– Не знаю ни одного русского, у которого был бы в доме запас алкоголя. Все выпиваете сразу, сволочи!

– Нет, так Ивана пошлем. Да вон он едет! Ваня! Ваня!

Желтая патрульная машина с фиолетовой мигалкой на крыше вынырнула из снежной мглы, и в окне ее появилось жизнерадостное бандитское лицо старшины милиции Ивана Мигаева.

– А, скульптор! Чувих несете? – спросил он.

– Ваня, будь другом, возьми у меня из кармана деньги и съезди за водкой!

Дважды просить себя старшина Ваня не заставил, по-мчался под светофорами сквозь снежные вихри к Казанскому вокзалу.

* * *

Сон в летнюю ночь после четырех бутылок «Экстры», привезенных старшиной Иваном Мигаевым с Казанского вокзала в студию скульптора Радия Аполлинариевича Хвастичева

В ту ночь я прибыл по распределению в районный центр.

Как будто Сыромяги селенье звалось.

Райсовет пылал десятком окон, тополиным пухом коза питалась, газик буксовал...

Больница размещалась на пригорке, и листья пальм под океанским ветром дрожали, трепетали, то топорщась, то улетаая, словно кудри девы.

«В эфире молодость», вечерняя программа, там профиль девы каждому знаком.

Внизу атолл причудливо змеился, под солнцем узкое колечко суши, как будто нежилось, и в полосе прибоя под пенным гребнем проносились тени – то серферы скользили по волне. Я дверь толкнул и оказался в блоке, где кто-то двигался, смеясь и объясняя, весельем неестественным играя и кашель заглушая рукавом.

– Прошу покорно, убеждайтесь сами, все приготовлено, разложено по полкам, стерильные комплекты... вот ножи для ампутации, для лапоротомии, кюретки для скоблелек криминальных, пинцеты, ножницы, рубанки, топоры, набор таблеток на четыре года, спиртяшки выдано вперед – залейся! – а что касается сестры-хозяйки, ее вам хватит лет на пятьдесят.

Я посмотрел – огромное отродье стояло в тазике, смиренно улыбаясь и подтверждая: «Не волнуйтесь, доктор, всего здесь хватит вам и вашим внукам на пару исторических эпох».

If you like I can see take in my car...

Таким макарончиком подготовив бегство и наградив себя словечком «хитрый», хихикая, подкручивая усик, он вышел в коридор в очках и шляпе, в галошах, с зонтиком, в крылатке и шарфе.

К нему рванулся, не сдвигаясь с места, десяток глаз, бесшумно умолявших избавить их хозяев от страданий, от боли и стыда, от угрызений, что свойственны болезням безобразным в начальной стадии.

– Ну что же, ну те-с да.

Ну что же, поднимите вашу блузку, чулок спустите, обнажите ногу, ну что же, так-с, незаурядный случай... Здесь больно? Нет? Но здесь хотя бы – да?

Помочь немедленно по правилам науки, но прежде прогуляться непременно по острову, в сельпо заехать, в офис, как губернатор славный Санчо Панса...

Скорей! Скорее в юркий «Запорожец»! Ухабами и слякотью к Воровской! Зайти в буфет, потом протелефонить, поклянчить денег, Сретенкой промчаться, туманным днем злословить в Гнездиновском, по Герцена, по Герцена к Садовой, мурлыкнуть на Арбате, выпить пива, войти в делишки кооператива, кто с кем, почему, на ком и почему...

Он вышел и увидел синагогу иль что-то вроде... выйдя из кино, попав в жару в нещадный трепет солнца, в край лопухов и в джунгли бузины, увидел он древнейшее строенье с орнаментом унылым, безысходным, твореньем неизвестного раба, чья жизнь была, должно быть, не похожа на жизнь яхтсмена Франка Джошуа...

В мечеть свою вносили ассирийцы, вавилоняне, жители Урарту, вносили в синагогу или в кирху, короче... в плотный сумрак заносили предмет тяжелый.

Вроде не меня, подумал он, стараясь ловко смыться, пройти сквозь бердыши, задком вихляя, вихляньем этим вроде отвлекая угрюмых стражей. Мимо бердышей лояльный гражданинчик, семенящий, как будто между прочим, по делам. С докладом в папке, с доклад-

ной запиской, с пластмассовой сосиской, с бадминтоном, сквозь бесконечный строй – скорей-скорей-скорее – с улыбкой, понимающе кивая усам и бердышам и животам...

...и с криком ужаса он бросился к забору, к сырой норе, где светлячок метался, зубами разрывая конский щавель, ища спасения в куриной слепоте, покуда папоротники детства не сомкнули над ним свой кров и он не захрапел.

Пауза. Аспирин.

Я сброшен был как будто с парашютом в Весенний Лес, молчащий.

В небесах еще летел Мой Мир, довольно крупный, меняя геометрию всех членов, таща три выхлопа на нужной высоте.

Потом, пропажу видно обнаружив, он заметался, за-юлил, заерзал, завыл динамиком, обиженно рванулся в ионосферу, лучики пуская, повис, как неопознанный объект.

Весенний Лес был скопищем высоких, разлапистых, замшелых, толстых, тонких, пятнистых, розовых, зеленых – ах, зеленых! – уже кудрявых и еще прозрачных и каплями увешанных и в птицах... и от обилия красивых незнакомцев я заскучал, почти затосковал. Но Лес был милостив и, сбросив пару капель мне на лицо, проговорил лениво:

– Не огорчайся, сценарист безбожный, мостов и пароходов поджигатель! Здесь все цветет, и в бульканье весеннем не так уж безобразен даже ты.

Когда-то я по дурости писал про голые деревья – дескать, эти вернее и честнее тех других, что прикрываются зеленой шапкой. Весенний Лес, должно быть, не забыл подобной наглости, но мстительность ему была, я видел, совершенно чужда. Он мне сказал:

– Смелее, алкоголик! Броди, дыши, знакомься, вспоминай! Про кедр и дуб, про сосны и березы, про почки и стручки ты слышал в детстве, за пестик и тычинки в пятом классе ты получил «отлично», обормот...

Вот положительный ион на ветке, покручивая носом, наблюдает, как отрицательно заряженный ион фривольно прыгает и фалды задирает, как та горянка... Боже, та горянка, что под гору бежит, мелькает платьем, чулками полосатыми и кофтой в таинственном лесу под Закопане в славяно-европейских эмпиреях...

Он побежал за ней по-вурдалачьи, подпрыгивая, ухая, стеная, неумолимо сверху настигая и снизу поджидая за кустом.

Тогда она попалась... Он, разинув слюнявый рот, испытывал блаженство сродни клещу, влезавшему в мякоть, и закрывал ее своим плечом. Своим плечом огромным, словно бурка, своим плечом мохнатым, склизким, влажным, своим плечом моторным безобразным ее он прятал, грел и утешал.

Впоследствии, встречаясь на приемах, сухой мартини тихо попивая, о театральных фокусах болтая, политики прилежно избегая, а больше на мартини налегая, они в глаза глядели осторожно, и все о Закопане было там.

Тогда уже не в силах скрыть отгадки, они друг другу нежно хохотали, чем вызывали бурю беспокойства в своем углу, и тут же Джон Карпентер, перемигнувшись с Плотниковым Петей, просил к столу, где сервирован ужин на тысячу приветливых персон.

Видали ль вы тартельки расписные, что поедает с нехорошим хрустом салат ля пари-зьян? Боюсь – видали! Видали ль вы омара заливного, жующего лапшу, сиречь спагетти? Видали ль вы вчерашние котлеты слегка с душком, что скромно претендуют на порцию цыпленка-табака, жующего миногу, а минога вполне по-светски набивала пузо паштетом птичьим... тот, не отставая, глотал кольраби, а кольраби енти, набросившись, мудрили над индейкой, а та, паскуда, поедала всех...

Промолвил Смит, кивая Кузнецову, а Рыбаков сказал с полупоклоном, конечно, Фишеру, а Тейлор, улыбаясь, Портнягину тихонько преподнес, а Плотников, нимало не смущаясь, Карпентеру прошелестел губами ту фразу, что у всех у нас вертелась на языках и в головах вращалась...

– Будем здоровы! – так звучала фраза, и тихий смех прошел по серебру.

Как будто колокольчики, как будто колокола в монастыре великом, в хрустальных башнях отразились лампы, ножи сверкнули, битва началась.

Там сквозь хрусталь просвечивал товарищ, с которым мы когда-то мокрым летом каперту пышную на стенке наблюдали, угря жевали, пивом клокотали и модерн джаз нам дико подвывал.

Каперта прилетела из Торонто к хозяину безвестному Саару, который, на баркасе промышляя полсотни лет, никак не помышлял, что где-то ткут подобные каперты с пастушками, похожими на кошек, с маркизами, снующими в облаве, с закатом над прудом, над лебедями... последние округлыми боками зады маркизов нам напоминали, зады, похожие на этих лебедей.

– Прелюбопытнейшим путем, однако, искусство движется, вот взять хотя бы «слово»... «кинематограф» взять... возьмем «скульптуру», окинем взором театральный поиск... прелюбопытнейшим путем к распаду искусство современное бредет...

Так леди Макбет с царственной улыбкой плеснула керосинчику в беседу, и мы с товарищем тотчас же встали, взъерошив кудри, поводя усами, с хихиканьем заросшие затылки и щеки колкие руками теребя.

– Пока, ребя, спасибо за захмелку, за закусон, за рыбу, за культуру, однако же повестки получили мы с ним обое, значит, нам пора...

– Помилуйте, какие же повестки, простите за нескромность, но какие?!

– В прихмахерскую. – Мы захохотали. – В прик-мейкерскую прибыли повестки!

Два полотенца, ложка, ножик, кружка... С вас рубль за штуку будет. На такси.

И мы тотчас помчались по Большому, в буфеты, в павильоны заезжая, пивные оставляя за кормою и Ивановский гудящий ресторан.

Большой проспект неожиданно закруглялся за площадью Толстого, да неожиданно, всегда неожиданно... Мраморные люди на Карповку смотрели в тайных думах, в смущенье мраморном, а медные подъезды, прохладные и тайные, живые и ждущие визита Незнакомки, визита Блока ждущие... и там с Желябова, как завернешь на Мойку, за ДЛТ, предчувствие визита еврейской девушки-петербуржанки и острое предчувствие любви.

О взморье, взморье, волны, завихренья, волан, застывший под напором ветра, ажур и кружевное завихренья по Северянину... о Балтика, о Нида, о Териоки... Ваше Длинноножье... еврейской девушки следы на пляже...

Это было на взморье синем В Териоках ли, в Ориноко...

Но вот подъехали и видим – кур гирлянды над входом в здание времен конструктивизма, гирлянды щипанных и шеями сплетенных в призыве страстном к другу-человеку: Добро пожаловать!

И мы без промедленья откликнулись и оказались сразу в том доме, полутемном и вонючем, в шатании фанеры коридорной, в мельканье безответственных персон.

Кружил нас странный поиск брадобрея, сквозь планетарий мы прошелестели, потом лекторий выплыл осторожно, наглядной агитацией гордась.

– Вот здесь, пожалуй, надо нам расстаться! – сказали мы друг другу очень важно.

– Сюда, друзья! – Мозольный оператор махал нам полотенцем, как крылом.

– Нет, нам не к вам. – И в звон метлахской плитки мы удалились порознь, напевая о чем-то личном важном грациозном, фундаментальном, каждый о своем.

Я дверь толкнул, и тут уж предо мною особа выросла, глазасто-огневая, стремительно-валяжная, бугристо... бугристо-каменистый подбородок, две пары щек и узкое отверстие, откуда, заполняя помещение, с отменным рокотом искательно-надменный глас проповедника кругами исходил.

Чертовски вкусный аромат сигары, чертовское поскрипыванье кожи, сапог добротных, кресел и подужья, чертовски вкусный сандвич по-техасски, чертовский кофе, коньяки и виски, чертовский блеск в уютном полумраке, чертовские возможности для роста, чертовский риск, чертовские мечты...

– Хе-хо-ху-ха, семейство человечье, по сути, лишь мицелий грибовидный, слой тонкой плесени, откуда на поверхность являются персоны-однодневки, и если в суп они не попадутся, то отмирают сами по себе.

– Позвольте, среди нас есть великаны! Толстой и Гете, мудрецы, поэты, ученые, что в космос запускают ревушие громады кораблей!

– Хе-хо-ху-ха, ученые, поэты? Всего лишь сорт другой, из несъедобных, росточком выше, да побольше вони... Мицелий ваш, братишка, ненадежен, надежны лишь гниение и тлен!

– Возможно ль жить с подобным убеждением?

– Нет, невозможно! – он провозгласил.

– Но что есть суп? Как вы сейчас сказали, лишь некоторые, так сказать, персоны имеют шанс в какой-то странный супчик в отличие от братьев угодить...

Он задрожал, глазищами играя, конечности с перстнями воздевая.

– Об этом деле можно, если хочешь, особым образом сейчас поговорить.

Улыбки и кивки и экивоки, подмигиванья, посвящения в тайну, три поворота с посвистом, прихлопы, присядка и коленца...

– Ха-ха-ха! Как это мило! Право, очень славно! Еще, еще последнее коленце! Тот пируэт!

Я вышел осторожно, зажав ладонью рот, и побежал.

Ко мне рванулись, не сдвигаясь с места, десяток глаз, безмолвно умолявших избавить их хозяев от страданий, от боли и стыда, от унижений, что свойственны болезням безобразным в начальной стадии.

– А нуте-ка, старушка, с горбом ужасным, обнажите спину! Не бойтесь, мамочка, не плачьте, не страдайте, ведь перед вами врач и клиницист!

Нарыв огромный клиницист увидел, он вздулся, как прозрачная планета, артерии, ветвясь, как амазонки, дрожали напряженно, на пределе, в лимфоузлах, разбухших, как сосиски, накапливался взрыв, а крик старушки накапливался в горле маломощном...

Что делать мне?

* * *

Может быть час, может быть минуту, а может быть, и сутки уже Радий Хвастищев сидел на хвосте своего динозавра «Смирение» и смотрел на его уродливый затылок. Хвост, если только можно назвать хвостом данное образование, имел округлую впадину весьма удобную для сидения или даже полулежания. Хвастищев не раз благодарил Небеса за то, что они повернули его резец куда надо, за этот неожиданный подарок судьбы, за округлую и обширную впадину в мраморе, где так мило было сидеть или возлежать и даже, вообразите, иногда баловаться вдвоем.

«Смирение», сожравшее уже автомашину Хвастищева, пай в жилищно-строительном кооперативе, фонотеку и драгоценности его бывшей жены, было огромным чудовищем, и ради его удобств задвинулись в углы, рассевались по чуланам ранние и горячо любимые работы некогда знаменитого скульптора.

Удобная, милейшая, хорошая ямка, думал сейчас Хвастищев, вернувшийся из путешествия в мир сновидений.

Хоть какой-то прок от этой гадины, подумал он дальше и с ненавистью посмотрел на мерзкую ноздрю незаконченного произведения, из которой торчала идеально отшлифованная человеческая нога.

Блядь мраморная, по миру меня пустил... сука... хер меня пустят теперь в Югославию... все уже знают о тебе в МОСХе и кое-где еще, кое-где еще.

Сиренево-зеленоватый сумрак летней ночи сквозил через символические дыры «Смирения», через непонятную самому автору и неизвестно что символизирующую «сквозную духовную артерию» на пузе.

Да почему же подлая блудливая жадная мразь называется «Смирение»? В этой мраморной глыбе ты саморазоблачился, Радий Аполлинариевич. Ты все еще обманываешь сам себя, все еще убеждаешь себя в любви, навязываешь себе жалость, рисуешь в воображении смиренного, туповатого, но чистого – ах, чистого душой! – телка динозавра. Однако вот он перед тобой каким вырастает – резец не даст тебе соврать!

Но как бы вообще избавиться от склонности ко лжи, от всего этого еврейско-славянского ангажемента? Какая молитва привела Генри Мура к его простым и чистым формам? Зачем называть мраморную форму «Смирением»? Почему не пометить ее номером? Ты все думаешь воздействовать на умы, на эмоции своих сограждан, содействовать их духовной эволюции, революции, поллюции, чему-то там еще... Кладут они с прибором на твои призывы.

Единственное, что их может поразить, – размеры! Вот если тебе удалось бы воздвигнуть над городом «Смирение» выше высотного дома или, наоборот, выпилить его из рисового зерна и вытатуировать на нем первые десять страниц философского труда «Материализм и эмпириокритицизм», вот тогда...

Нужно немедленно спилить, сгладить все эти политические, религиозные, сексуальные символы, замазать гипсом проклятую «сквозную духовную артерию»... а лучше всего толкнуть всю глыбу фирме Вучетича или Томскому, уж эти-то найдут ей применение. Хотя бы путевки можно будет купить в дом творчества, а значит, месяц не думать о жратве.

Медленно и тяжело заскрипела за спиной Хвастищева лестница. Наверное, спускается из верхней каморки бездарный и никому не нужный Царь Ирод, которому он много лет назад оплел чресла гирляндой фаллосов. Тоже мне, символ! Выпендривался тогда перед одной дохлятиной-смогисткой, а она так и не дала, «накрутила динаму»... Ирод так Ирод, хоть бы за пивом сходил.

Оказалось, не Ирод. Патрик, гаденыш, Тандерджет!

– О бастарды, бастарды, – заныл с лестницы Патрик. – Русские бастарды... Неужели у тебя нет холодильника с пивом «Левинбрау»?

– В углу обычно стоит горшок с рассолом, – предположил Хвастищев.

– Который час?

– Понятия не имею.

– А девки где?

– Спроси о чем-нибудь полегче.

Патрик со стоном побрел вдоль правого бока «Смирения». Временами он хватался руками за мрамор и опускал голову. Хвастищев боялся вылезти из своей ямки, зная, что его начнет качать еще похлеще. Девки? Американец сказал «девки»? Честно говоря, Хвастищева слегка удивило появление в мастерской самого долговязого Патрика Тандерджета, а уж о девках-то он совсем не помнил. Он напрягся... кое-что выплыло: «Импала»... Машка... какие-то сценки в валютном баре... но что за девки? Вот ведь незадача, какие были девки?

Патрик скрылся за изгибом «Смирения», потом появился уже на другой стороне, сел на стол, свалив какую-то посуду, пошарил и вдруг радостно завизжал:

– Вухи! Иэхи! Эй, Радик, тут бычков навалом! Эй, да тут какой-то жижи полный стакан! Надеюсь, не блевали в него. Тебе оставить?

– Ровно половину.

Патрик глотнул, задымил и вдруг загоготал, словно юный кентавр с островов Эгейского моря:

– О-го-го-го-го-го-го! Ты помнишь этот сучий Middle Earth, тот подвальчик возле рынка Ковент-Гарден?

Он вдруг запел весело и бездумно, как в том счастливом, полном надежд 196... году:

*Суббота – фестиваль всех оборванцев-хиппи!
На Портобелло-роад двухверстные ряды
Базар
шарманичиков, обманичиков, креветок, проституток,
подгнившей бахромы и летчиков хромых,
авокадо и адвокатов, капусты и алебаstra, мечей
самурайских и крылышек
райских,
орехов и грехов, юбчонок-мини, алкогольной лени
шотландских пайперов, гвианских снайперов,
испанских балахонов и русских малахаев, тибетской кожи,
арабской лажы
и треугольных шляп
у мистера Тяп-Ляп,
томов лохматой прозы
у мистера Гриппозо,
эму и какаду...
Я вдоль рядов иду,
я чемпионша стрипа —
в носу кусты полипов,
под мышкой сучье вымя,
свое не помню имя...
Здесь пахнет LSD
Смотри не наследи!*

Перед Хвастищевым на сиренево-зеленом фоне раскачивался дикий контур Патрика, но ему казалось, что он видит его прежнюю мечтательную детскую улыбку.

– Знаешь, Патрик, я не могу себе даже представить, что мы никогда не вернемся с тобой на Портобелло-роад, не прохилием через всю толкучку шалые, как тогда, в ту осень. Жить не хочется, когда подумаешь, что этого больше никогда не будет.

Патрик бросил танцевать.

– Сейчас, старик, вонища ползет по Европе, – прохрипел он.

– Неужели и в нашем Лондоне вонища?

– Везде вонища!

– Ты прав, – подумав, согласился Хвастищев, – везде вонища. Шестидесятые кончились, а семидесятые не начались, да и начнутся ли? Прага – Чикаго...

– Компьютеры, между прочим, дают ободряющие прогнозы, – сказал Тандерджет, влез в ямку «Смирения» и улегся валетом. – Мы еще с тобой, Радик, вспомним молодость...

– Иди на хер, Пат, – сказал Хвастищев. – Давай-ка лучше вспомним, ночь сейчас или утро, сколько прошло времени, и придумаем, как нам опохмелиться.

– Посмотри, что я нашел на столе. – Тандерджет протянул Хвастищеву листочек бумаги, на котором крупными ученическими буквами было начертано:

Радий Аполлинариевич и вы, Патрик Тандерджет!

Живи и жизнью наслаждайся!

Умей людей распознавать!

Коль встретишь добрых, им вверяйся!

А злых старайся избегать!

Благодарим за приятно проведенное время. Мы уезжаем в Загорск, есть надежда поступить в монастырь. Пока наш адрес – город Загорск, Московской области, фабрика мягкой игрушки, общежитие. Просим нам не писать.

Вечно ваши Тома и Клара.

Тома и Клара, вот как звали девочнок! Одна небось член месткома, комсомолка, гиревичка, кусачка; другая – цыганистая, слезливая блядюшка, подавальщица, продавщица... Где же мы их подцепили и что с ними делали? Почему Загорск, откуда мягкие игрушки?

Хвастищев силился что-нибудь вспомнить, что-то вдруг начинало шевелиться в мозгу, но вдруг по самой грани соскальзывало в полную неразбериху, в мутный хаос, где нет никаких координат, в иное измерение, и это было страшно. Он понимал, что это фокусы похмелья, но легче от этого не становилось.

– Пат, ты что-нибудь помнишь? Сколько времени мы пьем? Что мы делали?

– Единственное, что я помню, – сказал Тандерджет, – это наш разговор о Луне.

– Мы говорили о Луне? – осторожно спросил Хвастищев.

– Неужели не помнишь? Мы с тобой долго и детально обсуждали вопрос контакта между нашими лунными станциями. Напомню, мы сошлись, что глупо работать на одной планете и не общаться друг с другом. В Антарктиде общаются уже сто лет, а у нас на Луне все еще играют в секреты Полишинеля. Следующий раз я не полечу, если не будет решена эта дурацкая проблема. Мы не дикари, чтобы копаться поодиночке в лунной пыли. Никаких тайн давным-давно нет. Уверен, что даже с базой «Дунь-фунь» возможен контакт! – Американец раскалился, размахивал руками, стучал кулаком по мрамору, пылал глазами, как будто и в самом деле речь шла о каких-то реальных проблемах.

Хвастищев понял, что его приятель-янки побывал этой ночью еще дальше, чем он, только, может быть, ездил в другом направлении.

– Ты о китайцах говоришь, Пат? – спросил он осторожно.

– А почему бы нет?! Они такие же ученые, как мы, и так же рискуют жизнью и так же давятся, когда плотают косм-сосидж или мун-вота. По идее, надо соединить все наши туннели и образовать интернациональный город на Луне. Нужно немедленно ставить этот вопрос в Объединенных Нациях! Если уж на Земле нет мира, то пусть хотя бы на Плевательнице восторжествует разум!

– На какой плевательнице? – еще более осторожно спросил Хвастищев.

– Ты меня удивляешь! – вскричал янки. – Не ты ли первый сказал, что она с полпути похожа на плевательницу? Разве не помнишь, как мы хохотали до самой высадки?

– А ты что же, высаживался на Луне, Пат? – тихо-тихо спросил Хвастищев.

– Потрясающе! – завопил Патрик совершенно здоровым голосом, напомнившим прежние здоровые молодые годы, пляж и водные лыжи, мускульные радости и ветер в голове. – Ты хочешь сказать, что я оставался на орбите, когда высаживались Планичка и Хартак? Ты не рехнулся, Радик? После высадки Хартака и ты, и я не менее десяти раз побывали на Плевательнице и жили там по три месяца и дольше.

Он приложил ко лбу Хвастищева свою холодную руку и в этой позе на некоторое время застыл, превратился как бы в нарост на теле «Смирения». Бедный Пат! Теперь он так и будет сидеть на хвосте мраморного динозавра, пока скульптор не срубит его отбойным молотком. Но, может быть, и сам скульптор уже давно прирос? Вот это будет неприятность – ни поссать, ни опохмелиться.

Хвастищев, сама осторожность, перекинул ноги и вылез из ямки.

– Ну как, Пат? – спросил он. – Может быть, встанешь?

Тандерджет вдруг выскочил из ямки легко, как петрушка. У Хвастищева от сердца отлегло.

– Ну, вспомнил о Луне? – Тандерджет, добродушно хихикая, потрепал друга по плечу.

– А там и базы сейчас есть? – спросил Хвастищев.

– Конечно, есть. Четыре. Наша, ваша и две китайских.

– А-а-а, вот теперь вспомнил.

– Ну, хорошо, – вздохнул Патрик, – а то я уже стал бояться за тебя.

Он пошел к выходу из мастерской, а Хвастищев сзади перекрестил его спину.

* * *

Москва была совершенно пустынна. Под зеленым небом тускло светился ее асфальт, в темени на перекрестках мигали светофоры, кипела листва на бульварах. То ли ночь, то ли утро, то ли вечер, то ли перед атомной бомбежкой, то ли после...

Они шли по бульвару, и листва кипела над ними, и, как всегда, их сводила с ума эта кипень, и они были близки к счастью, им не хотелось, чтобы бульвар слишком быстро кончился, им хотелось, чтобы он вывел их в старый Данциг, на остров Ситэ или в Вену.

– Хелл... хелл... листва кипит под ветром... – бормотал Патрик, – знаешь, в детстве и юности, когда надо мной закипала листва, я видел, как «Мэйфлауер» поднимает паруса и возвращается домой, в старую Европу.

Хвастищев не ответил, его вдруг продрал озноб, и ноги неожиданно отказали ему. Тандерджет оглянулся и увидел, что друг его стоит посреди аллеи, вперив взгляд в листву.

– Что с тобой, Радик?

– Пат, посмотри-ка – часы! Видишь, среди листвы часы висят!

– Вижу. Полчетвертого. Значит, дело уже к утру идет.

– А может, вечер? – Хвастищева стала охватывать дрожь, и он затрепетал вдруг на глазах у товарища, словно листва.

– Спокойно! – гаркнул Тандерджет. – Полчетвертого после полудня летом совсем светло. Это полный день, а не вечер.

– А ты уверен. Пат? Уверен, что лето сейчас?

– Да посмотри же ты вокруг, остопоп! Видишь, листья зеленые! А теплынь-то какая! Сейчас лето!

– Ой ли, Пат?! Ой ли?! Меня вон дрожь бьет! Разве не видишь?

– Дать бы тебе по зубам, Радик! Небось перестал бы трястись!

В листве вдруг появился Ужас. Потом он перекинулся и на небо, на розовеющие верхние этажи домов, но главный Ужас, конечно, скрывался в словах «половина четвертого», и они колотились в горле Хвастищева, словно агонизирующий воробей. Единственным человеческим явлением в мире распространяющегося ужаса были глаза Патрика, но и на них уже начала ложиться тень солнца.

– Ой ли, Пат?! Ой ли?! Утро, говоришь? Север, говоришь? Юг? – Хвастищев погибал, но хватался еще за малейшую уловку, словно пытаясь еще обмануть непостижимый и не верящий ни во что Ужас, но вот не выдержал и сломался, заплакал. – А вдруг часы эти стоят?

Потом он увидел летящий в лицо кулак товарища, опрокинулся на спину и неожиданно не умер, а стал просматривать цветной панорамный

* * *

Сон о недостатках

В ту ночь в театре на балконе ночи «Севильского цирюльника» давали и НЕДОДАЛИ!

По зеленым шторам я полз наверх, чтоб в книгу предложений вписать мою любовь, любовь к Россини.

Россини милый, юный итальянец, твоя страна, твои ночные блики, твои фонтаны, девушки и флейты обманом мне НЕДОДАНЫ сполна!

Меня надули явно с увертюрой, мне недодали партию кларнета, в России мне Россини не хватает, и это подтвердит любой контроль!

Милейший Герцен, не буди Россию! Дитя любви, напрасно не старайся! Пускай ее разбудит итальянец, бродяга шалый в рваных кружевах!

Я полз по шторам к вышнему балкону, минуя окна, в коих поэтажно струилась Австрия и зеленело Осло, мерцала Франция и зиждился Берлин.

Внизу добрейший участковый Ваня гулял, лелея меховой подмышкой массивную, как Гете, книгу жалоб, насвистывал пароли стукачам.

А стукачи, отважная дружина, трясли ушами, словно спаниели, скакали грубошерстным фокстерьером, бульдожками разбрызгивали грязь.

А на балконе в театральном громе, среди облаков, над крышами России белейшая нежнейшая Розина плела интриги сетчатый чулок.

Меня ль ждала? Чего ей недодали? В Италии потребность в коммунизме, по слухам, увеличилась. Марксизмом насыщен, но не слишком, их Пьемонт.

Я удалялся вверх, а КНИГА ЖАЛОБ огромной всероссийской увертюрой гремела под ногами. Битва века там шла уже четырнадцать веков.

Всем недодали что-то. Горожане сушили порох, отливали пушки. Князья ярились. Вилами крестьяне пытались расписаться в книге жалоб. Булыжник корчевал пролетарьят.

Казалось русским: леса недодали, надули с электричеством, с правами гражданскими мухлюет государство, жида таскают материализм.

На самом деле недодали нашим косматым мужепесам итальянку, мажорную стожарную сюитку, дрожащую от страсти в кружевах.

А итальянцам недодали дырна, развала бочкотары, хриплой пасти, шершавого татарского маяла им не хватает к чаю, в шоколад.

И книга жалоб итальянским небом висела надо мной в огромных звездах, и жар Везувия ее подогревал.

Я потерял доверие к пространству, я – таракан – карабкаюсь по шторам, по оперным карнизам, вверх ли, вниз ли, слежу Розину, а она, как в море, скользит челном в парчовых завихренях, в излучинах парчи теряет слезы...

Гады проклятые, разве не видите – зонтик, рюмка? Не кантовать, мать вашу, не кантовать!

* * *

Очнувшись, Пантелей А.Пантелей обнаружил себя распростертым на газоне. Рядом сидел Патрик Тандерджет, и рука его спокойной тяжестью лежала на лбу Пантелея.

– Я глаз не сводил со стрелок, старик, – сказал Патрик. – Готов поклясться – часы идут. Сейчас уже без двадцати четыре.

– Приятный час, – сказал Пантелей, вылезая из-под руки товарища. – Приятное утро. Отличный век. Замечательный возраст.

– Ты уж извини, что я тебя звезданул. Извини, но так было надо.

– Не только прощаю, но и благодарю тебя, хотя не очень и понимаю за что.

– Я ведь знаю, как это бывает. Я сам однажды до смерти перепугался, увидев ручей и камни.

– В Крыму отличные ручьи! В Крыму превосходные камни! Мы должны с тобой лететь в Крым, Патрик Тандерджет!

– У меня нет ни цента, а у тебя ни копейки. Кто-то вывернул нам карманы, милый Пантелей.

– Пойдем и мы вывернем кому-нибудь карманы, Тандерджет! Или ты забыл, как мы сражались под вымпелом князя Шпицбергена? Вставай, американец! Начнем путешествие по стране чудес!

Очередь за итальянскими валенками в сонном забытии лепилась вокруг ГУМа, когда со стороны Кремля к ней приблизились два деклассированных элемента в фирменных джинсах, а один долговязый еще и босой. Мало ношенные замшевые туфли были у него связаны шнурками и перекинуты через плечо.

– Мужчина, туфельки не продаете? – вяло поинтересовалась гражданка из города Херсона.

Ей казалось, что она все еще спит. Она спала уже третьи сутки в очереди за итальянскими валенками, которых, кажется, не существовало в природе, и вдруг увидела на фоне исторических зубцов и башен долговязого алкоголика с туфлями замшевыми на плече. Как прынец!

– Охотно, мадам! – восторженно воскликнул прынец. – Сколько дадите?

Гражданка мечтательно улыбнулась:

– Пятерку дам молодчику, новенькую пятерочку.

Так и не успев до конца проснуться, чтобы поверить в свое счастье, гражданка получила замшевых красавцев, а долговязый элемент весело запрыгал с пятеркой в руках.

– Вухи! Иеху! – вопил он. – Живем!

Весть о немыслимой фантастической продаже фирменных замшевых штиблет за пятерку словно огонек по бикфордову шнуру бежала вокруг ГУМа.

И вот произошел взрыв. Забыв итальянские валенки, очередь сломалась, преобразилась в толпу, окружила двух инопланетных пришельцев, у которых было что продать по части обуви. Один пришелец, правда, был уже бос, но на втором красовались качественные вельветовые туфлишки. Толпа размахивала руками, что-то выкрикивала, похоже было на стихийный митинг времен Первой Русской Революции.

ПРОДАЙ, ГЕНАЦВАЛЕ, СВОИ ВЕЛЬВЕТЫ!

Таков был смысл народного порыва. Полнокровный кавказский гражданин рявкал в лица пришельцев брызгами аджики:

– Полсотни даю!

– Вот грузины-гады – все перекупают! – закричали вокруг.

– Деньги у них не трудовые!

– Жулье!

Пришелец стащил с ног штиблеты вместе с носками, виранул все это хозяйство над головой и закричал:

– Дают пятьдесят! Кто больше?

– Семьдесят пять, мой хороший, семьдесят пять, – уже причитала виноградарь из Хорезма, простирая узкие гаремные руки. – Сынишке, сынишке...

– Сто! – гаркнул кавказец, сунул пришельцу сотенную бумажку и вырвал туфли.

– Туфли ваши! Носки в виде премии! Брюки не трогать! Товарищи, товарищи! Брюки непродажные! Не стягивайте джинсов с товарища!

Десятки проворных рук ощупывали джутовые брючата пришельцев, дергали за молнии на ширинках.

– Продай! Продай! Продай страусы, братишка!

Схватившись за штаны, пришельцы устремились в бегство. Толпа преследовала их до середины площади, но на середине остановилась. Здесь уже начиналась зона действия священных построек, и войти туда с торговыми идеями было бы кощунством. Даже дети в толпе отлично понимали разницу между ГУМом и Кремлем. Благодаря такой сознательности пришельцы благополучно удалились в сокровенные тени и, шлепая босыми ногами по брусчатке, поплелись к розовеющей под рассветным небом реке.

Очередь тогда мирно восстановилась и вновь облепила шедевр торгового зодчества. Идея итальянских валенок снова стала овладевать москвичами и гостями столицы.

Позднее на зады ГУМа, в Бумажный проезд, въехали три преболяпущих трейлера, и из их пучин стали подниматься бесчисленные обувные коробки с клеймом «Made in Czechoslovakia», «д-р Индра и народ».

– Чего-то забросили, – заволновалась очередь.

Оказалось, как раз вельветовые туфли прибыли, по четыре двадцать пара. Еще позднее все стало ясно – «Березка» РАЗВАЛЮТИЛА!

* * *

Сначала мы вовсе не хотели воровать

Ночной фармацевт, как ни странно еще не утративший сочувствия к страждущим, выдал нам десять флакончиков валериановой настойки, здоровенную бутылку пантокрина и четыре тюбика болгарской зубной пасты.

Вот как нам повезло, а потом нам снова повезло: под аркой бывшего Дома правительства в мрачном холодном туннеле мы обнаружили длинный ряд автоматов с газированной водой. Чудо, конечно, состояло не в этом, автомат в наши дни обнаружить не трудно. Наше чудо, наша везуха заключалась в другом – в ржавой пасти одного автомата стоял нетронутый стаканчик.

Мы хотели было тут и расположиться со своими лекарствами, но вдруг из какого-то подъезда выскочил милиционер и побежал к нам по туннелю, залиvisto свистя. Был он в довоенной еще форме, без погон, с петлицами, в белом шлеме и нитяных перчатках. Кого он тут охранял в этом проблеванном насквозь доме? Может быть, это был даже и не милиционер, а только лишь призрак милиционера?

На всякий случай, однако, мы улепетнули от стража, показали ему свои пятки. Трусость, скажете вы? Позор? Нет, господа, ничего позорного в этом нет, и если вы в Москве, Тиране или Каире улепетываете от милиции, то это не трусость, но лишь благоразумие.

...Так мы украли стакан...

Как было хорошо на набережной у самой воды, вернее, у мазутных пятен, закручивающихся в спираль и увлекающих за собою всяческую дребедень. Здесь на гранитных ступенях мы и расположились. Сначала выпили валерианку, а потом открыли бутылку с ветвистыми пантами северного оленя на этикетке.

...Ах, какая досада, что нельзя пригласить сюда Толечку фон Штейнбока, нельзя перенестись хоть на миг в магаданскую тепловую яму «Крым», где бэ-зеки дули пантокрин и тут же на нижнем ярусе проверяли его действие...

– Между прочим, от пантокрина хер так стоит, что хоть ведро на него вешай, – сказал Этот.

– А зачем? – рассердился Тот. – Ублажать всяких истеричек? Хватит с меня!

Тот выжал в стакан тюбик «Поморина», зачерпнул из реки немного нефти и долил ароматным настоем, магаданским любовным напитком.

– Пей! Гарантирую месяц полового спокойствия.

Этот выпил белую вязкую жидкость, а тот перед глотком умудрился еще почистить зубы.

Употребив все свои запасы, они блаженно растянулись под досками пристани речных трамваев. Через некоторое время доски над ними заскрипели, прошел пристанской матрос, глухим матюком приветствуя наступающее утро.

Уже горел на солнце купол Ивана Великого, над ним пускал лучи и ясно светился православный крест. Вскоре запылали маковки Успенского собора и Церкви Ризоположения, и ветер прошел по реке, не обойдя и наши опухшие лица, и взмыл вверх, чуть шевельнул рубиновые звезды, а потом защелкал алым флагом над зеленым куполом Свердловского зала. У Этого под досками пристани вдруг дыхание перехватило от судороги патриотизма.

Такое уже с ним бывало. Вот так, возвращаясь из Японии через Польшу после трехмесячного плавания по чужим адриатикам, ты вдруг видишь кресты Кремля, слившиеся в противоестественном, но почему-то нерушимом союзе с символами атеизма, и вдруг тебя перехватывает пароксизм патриотизма, ибо ты видишь губы и соски своей Родины, от которых, несмотря на унылую пропагандистскую штукатурку, все-таки пахнет молоком.

– Ты любишь свой флаг? – спросил Этот Того.

– У меня нет своего флага, – пробурчал Тот.

– Флаг твоей страны. Stars and stripes?

– Любить этот облеваный пододеяльник?

– А я вот люблю свой флаг. Ничего не могу с собой поделать, люблю, да и все – и трехцветный, и андреевский, и нынешний красный.

* * *

Пантелей Аполлинариевич Пантелей рассказывает в третьем лице о том, как однажды кончилась его молодость

Казалось бы, совсем еще недавно под куполом Свердловского зала мириадами гнилостных микробов обрушился на незадачливого Пантелея гнев народа, выраженный гневом Главы, а между тем уже восемь лет прошло, и Глава тот уже никого не представляет, кроме самого себя, беспомощного старика.

Тот куполок выложен изнутри лазоревой плиткой, но Пантелею тогда показалось, что он стоит один в горной ледяной стране под ослепительным и совершенно безучастным к его судьбе небом.

На самом деле снаружи был Женский день Восьмое марта, менструальный цикл страны, и из низких брюхатых туч на Кремль валилась снежная слякоть, а внутри хоть и было снежно от беломраморных стен, но не очень-то одиноко: зал гудел сотнями голосов, словно некормленный зверинец.

– Пантелея к ответу!

– Пантелея на трибуну!

Идти, что ли? Пантелей, бессмысленно улыбаясь, причесался и сидел теперь в кресле, вертя расческу. Идти, что ли, товарищи? Вокруг были одни лишь спины и затылки либералов, недавних покровителей, друзей и подхалимов Пантелея. События разразились внезапно, никто их не ждал, и поэтому перед началом заседания «левые» сели с «левыми», а «правые» своим порядком. Теперь вокруг незадачливого Пантелея, вместо умных, востроглазых, ироничных лиц, были одни лишь затылки. Даже сидящие позади умудрились повернуться к нему затылками, хотя руки их полоскались впереди в бесконечном спасительном аплодисменте.

– А ну, иди сюда! – хрипловато сказал в микрофон Глава, встал на своем возвышении, и рев зала мгновенно умолк. – Иди, иди, я тебя вижу! – Палец, известный всему миру шахтерскими похождениями, нацелился в противоположный от Пантелея угол зала. – Вижу, вижу, не скроешься! Все аплодировали, а ты не аплодировал! Очкарик в красном свитере, тебе говорю! Иди на трибуну!

Приметы злого битника, «пидараса и абстраксиста», были хорошо известны Главе по сообщениям референтов. Злой битник всегда был в свитере, очках и бородке, любил шумовую музыку-джаст и насмехался над сталинистами. Сталина и сам Глава очень сильно ненавидел и понемногу выпускал из покойника кишки, но одно дело Сталин, а другое – сталинист: эдак злой битник и до нашей культуры доберется, подточит ядовитыми насмешками ствол нашей культуры, и вообще... попэред партии в пэкло нэ лезь! Пока не поздно, по зубам им надо дать, подрубить корешки, а то уж в воздухе дымком стало потягивать, венгерской гарью. Так референты говорят, а ведь они почти все с высшим образованием и классовым чутьем не подкачали.

Зал с восторгом заулюлюкал, глядя на поднятого державным пальцем классического битника. Вот он, Пантелей зловредный, который раскольник, мешает нашим польским товарищам строить социализм, который бескостным своим блудливым языком мелет вредный вздор про оттепель да про «наследников Сталина». Вот он, облик врага, – запоминайте: красный свитер и бородка, очки в железной оправе и волосенки, слипшиеся на лбу.

Пантелей между тем, вжавшись каменным задом в кресло, переводил дух. Вместо него был поднят Сильвестр.

Он шел по ковровой дорожке к трибуне, этот косолапый Сильвестр, растерянно жестикулировал и бубнил:

– А я-то при чем, товарищи? Я никаких интервью не давал, товарищи! Я, товарищи, не Пантелей...

– Мстишь нам за своего отца? – прогремел над собранием микрофонный голос Главы.

Здесь опять же была подначка умных референтов: злой битник, конечно, имел зуб на родину за репрессированных родителей, и хотя никто не отрицает, что виноват во всем культ личности, но все-таки яблочко-то от яблони недалеко падает...

– Папа мой действительно погиб в ежовщину, но вы же сами его и реабилитировали, – бормотал Сильвестр, карабкаясь на трибуну. Часть его слов уже попадала в микрофон и долетала до зала, как невнятные стоны тенора-саксофона.

Между тем Верховный Жрец подполз под ногами президиума к седалищу Главы и зашептал:

– Это не тот, экселенц, небольшая ошибочка. Сие не Пантелей, экселенц!

– Иди на место! – тут же рявкнул Глава уже залезшему на трибуну Сильвестру и сел, вытирая свою прославленную Голливудом голову, жалея о даром потраченной злости и оттого еще больше злясь.

– Слово имеет товарищ Пантелей, – нормальным деловым тоном объявил Верховный Жрец, существо, удивительно похожее на муравьеда с его жевательными и нюхательными присосками, выступающими из жирного тела.

Ледник под ногами Пантелея стремительно поплыл вниз. Ледник этот под ногами возник в самом начале заседания, когда некая пылкая воительница, пользуясь привилегией Женского дня, разоблачила перед всем залом международную деятельность Пантелея, а именно его интервью журналу «Панорама» из города Быдгощ Познанского воеводства. Теперь ледник стремительно уходил из-под ног, увлекая за собой Пантелея прямо к трибуне.

Тысячи две виднейших персон страны смотрели на зловредного Пантелея с некоторым разочарованием. Как? Вот этот обыкновенный тридцатилетний молокосос в обычной серой паре и нормальном галстуке, это и есть тот возмутитель спокойствия, коварный словоблуд, вскрывающий сердца нашей молодежи декадентской отмычкой, предводитель битнической орды, что тучей нависла над Родиной Социализма? Может быть, это просто маскировка, товарищи? Конечно же, просто маскировка, а в штанах у Пантелея-отступника, конечно же, крест, а на груди под рубашкой висит порнография и песни Окуджавы, так что перед нами хитрейшая маскировка, товарищи. Такой враг еще опаснее. Сильвестр хотя бы весь на виду. Пантелей – скрыт!

Между прочим, на шее незадачливого Пантелея действительно висел католический крест, оставшийся еще со времен Толи фон Штейнбока. Тогда, накануне разлуки, мама и Мартин, узники магаданского семикилометрового радиуса, вручили юноше этот маленький религиозный предмет с крошечной серебряной фигуркой Распятого. Впоследствии все пятеро наследников нищего багажа хранили крестик, тщательно оберегая его от посторонних глаз, стыдась – вот именно стыдась – его несовременного смысла. Сравнительно недавно в голоштанном вольном Коктебеле стали появляться молодые супермены с крестами. Пантелей понял, что его тайный стыдный талисман превратился в снобистское, эпатирующее жлобов украшение, и в открытую повесил его себе на грудь. Должно быть, именно тогда и отправилась про крест «телега» в соответствующие инстанции.

Сейчас Пантелей шел к трибуне, ничего не соображая, не чувствуя ни ног своих, ни рук, совсем потеряв себя во враждебном ледяном и голубом пространстве, но мозг его, этот недремлющий часовой робкого человеческого организма, фиксировал все звуки, и лица, и разговоры про татуировку и про крест, и позже, много позже, то ли во сне, то ли в пьяном бреде, Пантелей вспомнил, чего больше всего боялся в этом высоком собрании – как бы не приказали раздеться догола!

Трибуна возвышалась над залом, но над ней еще нависал огромный стол президиума, из-за которого смотрели на приближающегося Пантелея десятка полтора лиц. Суровых? Нет! Угрожающих? Нет! Насмешливых, презрительных, осуждающих, добродушных??? Нет, нет, нет, нет!!! Даже следов какого-либо чувства не было на этих лицах. Такое вот лицо, любое из пятнадцати, появится перед тобой ночью на шоссе, как слепящая фара, проедет через тебя и даже не моргнет. Словом, это были вполне обычные лица, и лишь одно лицо за столом наливалось багрово-синюшным соком – лицо Главы.

Пантелей, водрузившийся на трибуне, являл собой зрелище не самое выдающееся. Трибуну под ним швыряло, словно бочку на фок-мачте, и земли на горизонте не предвиделось. Однако мозг его не дремал, а, напротив, бешено петлял в собственных лабиринтах, выискивая лазейку. Вдруг показалось Пантелею, что где-то скрипнула дверь, мелькнула узенькая полоска света, и он зашевелил языком перед потной мембраной микрофона. Он говорил, словно запихивал в мясорубку дурно пахнущее мясо, и оно вылезало наружу белесыми веревочками подозрительного фарша.

– ... дорогие товарищи дорогой кукита кусеевич с этой высокой трибуны я хочу критика прозвучавшая в мой адрес справедливая критика народа заставляет думать об ответственности перед народом перед вами мадам прошу прощения оговорка истинно прекрасные образы современников и величие наших будней среди происков империалистической

агентуры дорогие товарищи как и мой великий учитель маяковский который по словам незабвенного Иосифа Виссарионовича был и является я не коммунист но...

Мощный рык Главы ворвался в дыхательную паузу Пантелея:

– И вы этим гордитесь, Пантелей? Гордитесь тем, что вы не коммунист? Видали гуся – он не коммунист! А я вот коммунист и горжусь этим, потому что я сын своего класса и никогда от папашы не откажусь! (Бурные продолжительные аплодисменты, крики «Да здравствует дорогой Кукита Кусеевич!», «Слава ведущему классу!», «Позор Пантелею!», «Позор палачу португальского народа Салазару!») Распустились, понимаете ли! Пишут черт-те что! Рисуют сплошную жопу! Снимают дрисню из помойной ямы! Радио включишь – шумовая музыка-джаст! На именины придешь – ни выпить, ни закусить, сплошное ехидство! Мы вам здесь клуб Петефи устроить не дадим! Здесь вам не Венгрия! По рукам получите, господин Пантелей! Паспорт отберем и под жопу коленкой! К тем, кто вас кормит! В Бонн! (Бурное одобрительное оживление в зале, возгласы «за границу Пантелея!», «всех их за границу!», «психи, шизоиды, за границу их, в Анадырь!».)

Пантелей (на грани обморока, морозным шепотом): Кукита Кусеевич, разрешите мне спеть!

– Книжку недавно одну взял, – тихо продолжал Глава, набирая силы для нового взлета. – Тошнить стало, товарищи. Не в коня пошел корм, товарищи (смех, аплодисменты). Ни пейзажа, товарищи, ни стройной фабулы, ни одного рабочего даже на уровне райкома нету. Ни зима, ни лето, товарищи, а попадье кочерга в одно место! (Долгий несмолкающий смех, переходящий в слезы.) Да в другие времена за такую-П книжку! Семь шкур! С сочинителя! С жены-П! С детей! Сняли-П! – Теперь голос Главы звенел в самых верхних регистрах и вдруг, погашенный хитровой улыбочкой, слетел вниз. – Я имею в виду, товарищи, времена неистового Виссариона, нашего великана Белинского, а не что-нибудь еще. (Бурныедолгонесмолкающиепереходящиевтопот, одинокий возглас с армянским акцентом «хватит демократии, пора наказывать!», добродушный смех – ох, мол, эти кавказцы.) Вот так, господин Пантелей! История беспощадна к ублюдкам и ренегатам всех мастей, а особенно одной, которую все знают!

Пантелей (из пучин обморока): Разрешите мне спеть, дорогие товарищи!

Крики из зала: Не давать ему петь!

На виселице попоешь! За границей!

Знаем мы эти песни!

Глава поднял вверх железные шахтерские кулаки. Сверкнули на нейлоновых рукавах бриллиантовые запонки, подаренные народом Камбоджи.

– Всех подтягивателей и подзуживателей, всех колорадских жуков и жужелиц иностранной прессы мы сотрем в порошок! Пойте, Пантелей!

Незадачливый ревизионист растерялся от неожиданной милости. Он взялся обеими руками за трибуну, набрал в грудь воздуха, собираясь грянуть «Песню о тревожной молодости» или «Марш бригад коммунистического труда», как вдруг рот его открылся сам по себе и медовым баритоном завел совершенно не относящуюся к делу «Песню варяжского гостя».

Большого позора и ждать было нельзя. Пантелей потерял сознание, но и без сознания продолжал упорно петь:

– ...велик их Один-бог, угрюмо море...

Глава слушал, закрыв лицо рукой. Зал затаился в злорадном ожидании. Старший сержант гардеробной службы Грибочуев уже готовил реплику «с чужого голоса поете, мистер». Ария кончилась.

– Поете, между прочим, неплохо, – хмуро проговорил Глава.

Пантелей вздрогнул и пришел в себя, оглянулся и увидел, как из-за пальцев поблескивает клюквенный глазик Главы. Ему показалось, что Глава подмигивает ему, будто приглашает выпить.

– Поете недурно, Пантелей. Можете осваивать наследие классиков. Лучше пойте, чем бумагу марасть.

Глава встал, оглядел зал, увидел среди неопределенно моргающих деятелей культуры напряженные лица экзекуторов и зло подумал: «Ждут псы. Так и моего мяса когда-то ждали, когда рыжий таракан заставлял казачка плясать. Ждите, ждите, авось дождетесь залупу конскую».

Он начал откашливаться и кехать, и кашель этот и кеханье, прошлой осенью во время Карибского кризиса державшие в отвратительной потной тревоге весь цивилизованный мир, теперь держали в напряжении этот зал, «левых» и «правых», боссов пропаганды и агитации, сотрудников безопасности и внутренней прессы.

Один лишь Пантелей как будто бы ничего и не ждал. Он держался обеими руками за ладью свою, государственную трибуну, и плыл и плыл по волнам истории, а куда – «не нашего ума дело».

– Будете петь с нами, Пантелей, разовьете свой талант, – прокрипел наконец Глава. – Запоете с ними, загубите талант, в порошок сотрем. С кем хотите петь?

– С моим народом, с партией, с вами, Кукита Кусеевич! – спел Пантелей теперь уже нежнейшим лирическим тенором, но, как заметили «правые», без искреннего чувства, а даже с лукавством, с определенным шельмовством.

Глава неожиданно для всех улыбнулся.

– Ну что ж, поверим вам, товарищ – (ТОВАРИЩ) – Пантелей Репетируйте, шлифуйте грани, трудитесь. Вот вам моя рука!

Мощный заряд революционных биотоков влился в поры пантелеевской потной ладони. Восторженные крики либералов приветствовали это спасительное и для них рукопожатие, а сержант гардеробной гвардии Берий Ягдович Грибочуев в досаде ущипнул себя за левое полусреднее яйцо – не вышел номер, не клюнул «кукурузник» на наживку!

...Восьмое марта хлюпало под ногами грязной кашицей, секло ледяным дождем серые, худые, отечные, синюшно-хмельные лица. Сонмы москвичей месили кашу на улице Горького в поисках сладкого. Сладкая жизнь на улице Горького, мало кого из искателей тревожил дешевый парадокс, живущий в этих словах.

Вдруг на Манежной в потоке грязных машин заметалось яркое пятно, похожее на сгусток вчерашнего винегрета, – цыганка с мешком, прижатым к груди, будто вынырнувшая из мусорного коллектора столицы.

Толпа сладкоежек, вывернув из-за «Националя», бежала по тротуару, показывая на цыганку руками:

– Украла!

– Ребенка украла!

Никто, однако, не решался перепрыгнуть через барьер и броситься за цыганкой в поток машин. Брызги со скатов запачкали бы праздничные туалеты.

Прижатые толпой к зеркальному окну «Наца», молча наблюдали за происходящим только что выпущенные из Кремля Сильвестр, Пантелей, Никодим, вожди несуществующей, но уже разбитой армии битников-ревизионистов.

Машины тормозили, шли юзом, сбивались в кучи, толпа ревела, взывая к милиции, милиция, не торопясь, подтягивала силы к месту действия, а грудастая задастая цыганка все металась с бешеным огоньком в глазах, спасая себя и свой мешок, тот, что толпа называла украденным ребенком. Так она отмечала свой Женский день.

* * *

Солнце размягчило асфальт Софийской набережной, и на нем видны были теперь следы «Ягуаров» и «Бентли», что веером разошлись из ворот британского посольства. Асфальт проваливался под каблуками дипломатов, как пастозная кожа под пальцем врача. Двое босых мужчин далеко не первой свежести тоже оставляли на асфальте отпечатки своих ступней.

Мужчины держали друг друга под руку и прогуливались вдоль Москвы-реки в уважительной и сосредоточенной беседе, словно какие-нибудь профессора МГУ или академики Ильичев и Лысенко. Стоящий метрах в двухстах фургончик с надписью «Белье на дом» записывал их беседу на магнитную ленту.

– Ты думаешь, что все это ваша пропаганда, а между тем отрезанные уши – это правда. И ядохимикаты, и электроды на гениталиях – тоже правда. Я был во Вьетнаме. Специально поехал в самое пекло. Играл на скрипке этим несчастным скотам, пил с ними. Я сам вместе с ними считал отрезанные уши. Веселились, как помешанные. Ненавижу, ненавижу то, что они называют родиной, эту блядь с прокисшим молоком в титках. Ничего общего она не имеет с моим детством, с моей ностальгией.

– Ну, что касается нашей красавицы, то ей нет нужды вспоминать о такой ерунде, как отрезанные уши. Кастрация, трепанация, неумелые швы, грязь, нагноение, сукровица – вот наши дела. И все-таки... «люблю отчизну я, но странною любовью» ... «какому хочешь чародею...», «о Русь моя, жена моя...» и так далее. Понимаешь ли, я ее люблю.

– Это у вас, русских, варварское, глубоко провинциальное чувство. Притворяетесь без конца каким-то щитом Европы, бубните о каком-то там мессианстве. Вздор это все! Никакой загадочной славянской души, как и никакой великой американской мечты, в нынешнем мире нет. Есть только два чудовищных спрута, гигантские мешки полуживой протоплазмы, которая реагирует на внешние толчки только сокращением или поглощением. Поглощать ей, конечно, приятнее, чем сокращаться.

– Ай-я-яй, как хлестко, как гениально! Но кроме шуток, ведь протоплазма эта состоит из людей, из отдельных личностей, и у каждой есть интеллект, душа, тоска по Богу...

– Личность? Слушай, выкидыш сталинизма, личностью может быть только тот, кто убежит. Сливаясь с политической или противоположительской системой, ты становишься производителем или потребителем, карателем или разрушителем, ты уже попадаешь под классификацию.

– Ты думаешь, что внутри общества мы все и по отдельности уже обанкротились?

– А то нет! В последние годы я относился серьезно только к этим придуркам «детям цветов», но и они теперь вырождаются в революционеров, то есть становятся сворой.

– Как же быть этой отдельной сбежавшей личности, во что ей верить?

– Больше всего на свете я хотел бы стать смиренным христианином и верить в хрустальный свод небес, и в прозрачную реку Океан, и в трех слонов, и в черепаху, в заоблачный сад, в белые, просто снежные перья ангелов, но главное – верить в Него, в Его муки ради нас и в то, что Он придет снова...

– Но ты не веришь?

Патрик замолчал и отвернулся от меня, а я вдруг отчетливо вспомнил вечер в Третьем Сангородке, черные крыши бараков, зеленое небо и узенький месяц над Волчьей сопкой и Толю фон Штейнбока, идущего рядом со спецпоселенцем Саней Гурченко, скрип снега под их шагами и тихий разговор о заоблачных садах.

Фон Штейнбоку было трудно поверить, а тебе-то что мешает, Патрик Тантерджет? Что стоят твои жеманные тирады? Что мешает тебе верить в Христа? Может быть, в детстве ты

сидел не в методистской церкви, а на уроках ОМЛ? Может быть, ты читал не Библию, а четвертую главу Краткого курса с ее «единственно верным и подлинно научным мировоззрением»?

Я разозлился было на Патрика, но потом подумал, что несправедлив, как всегда. Как всегда, я не могу понять западного человека. Наверное, русский никогда не приживется к западному. Вот уже столько лет мы дружим с этим длинным, а все никак не можем до конца понять друг друга. Ведь западному человеку тоже надо во что-то не верить, а, быть может, нынешняя моя вера тоже всего лишь акт неверия? Отчаяние и тоска поскребли меня наждаком по коже.

Вдруг за нашими спинами нежно прожурчали, чуть-чуть всхрипнули и умолкли автомобильные цилиндры. Мы обернулись и увидели седого плейбоя, сидящего в журнальной позе за рулем открытого «Мустанга». Сощуренными глазами он смотрел на Патрика и молчал. Неестественный рекламный цвет его лица, тугая кожа, рубашка в цветочек, яркий галстук, нежно-розовый фланелевый костюм, мужественная челюсть, сверкающий суперкультурой кар-автоматик – идеальный образ рыцаря Запада в стане большевиков, ни пылинки, ни соринки, и только глазки его мне не понравились... этот прищур... такие знакомые, чуть ли не колымские усвитловские глазки.

Патрик отвернулся, облокотился на парапет и стал смотреть в воды мазутной красавицы. Он выпятил задницу, свитер его задрался, и обнажилась волосатая елочка, ползущая с ягодиц по хребту. Получалась нелепица: жесткий, цепкий, пронизывающий, прекрасно отработанный взгляд седого супермена упирался теперь в малопривлекательные ягодицы и таким образом пропадал втуне.

– Тандерджет, – проговорил наконец красавец голосом Уиллиса Кановера. – Машина, взятая вами вчера в гараже посольства, находится на штрафной площадке ГАИ.

Патрик закинул воображаемую удочку и беззаботно замурлыкал песенку «Гоу, Джонни, гоу». Красавец оскорбленно взвизгнул уже совсем другим голосом:

– Мистер Тандерджет! Вы забыли о цели вашего приезда в эту страну! Вы пропустили коктейль на уровне замминистра просвещения! В каком виде вы ходите по городу? Что за подозрительный тип с вами? Вы позорите белоголового орла!

Патрик виновато пукнул.

– Сэр, он ухаживает за другой белой головкой, – сказал я красавцу.

– Ах, вы понимаете по-английски, – смутился красавец. – Простите, я не хотел вас обидеть. Вы европеец?

– О да! Я сын этого континента с изрезанными берегами, – с туманной гордостью ответил я.

– Господа, прошу вас, садитесь в машину. Ведь здесь вам не Калифорния. Посмотрите, там возле моста фургончик «Белье на дом»... вы понимаете?... а вы говорите о таких серьезных вещах!

Патрик вдруг повернулся и завопил проезжающему такси:

– Шеф, стой! На Пионерский рынок подбросишь?

Уже в такси я спросил Патрика:

– Кто этот красавец?

– Из посольства. Стукач номер один.

* * *

«Мужской клуб»

– ... Когда-нибудь, о Небо, в недалеком будущем или прошлом вырастут из шлакобетона, поднимутся из металлолома высокие хрустальные дома-бокалы с пузырьками внутри, и никто не будет кушать ничего живого, потому что жизнь будет, как шампанское!..

Так утешал себя, смиряя страшную утреннюю дрожь, Петр Павлович Одудовский. Вместе с собачкой Мурой стоял он, как обычно, в полуживой очереди «Мужского клуба». Мура бегала на поводке вокруг дрожащих ног хозяина и была в очень дурном настроении. Холодный грязный ветерок вздувал ей шерсть, забивал всяческой базарной гадостью глаза. Старая, маленькая, четырежды уже рожавшая Мура утешения хозяина знала наизусть, ни малейшим образом не верила в эти хрустальные дома-бокалы, а неизменная утренняя дискуссия по национальному вопросу в «Мужском клубе» ее несказанно раздражала.

– Мурочка, потерпи, родная, сейчас откроют, – умоляюще шептал Петр Павлович, и собачка, понимая его головокружение, его воздушные ямы, терпела, только лишь рычала на гнусные облеваные ботинки алкоголиков.

– А ты что это, Алька, усики себе заделал? – спросил Ким, грузчик из овощного магазина. – Может, в грузины мылишься?

Алик Неяркий, в недалеком прошлом первейший хоккейный бомбардир, сложил на груди обнаженные руки, похожие на удава, переваривающего нескольких кроликов, и только лишь усмехнулся в ответ.

– А по-твоему, грузин не человек? – бабьим голосом завопил на Кима нервный сантехник Суховертов. – Ким, блядь позорная, шовинист сраный, я тебя спрашиваю – грузин не человек?

– Напросишься, Суховертов, напросишься, мордва болотная, – постукал на него зубами Ким и отвернулся, взялся глядеть на разделку мяса за стеклянными стенами рынка.

Там в кафельном полукружье культурные молодчики в фирменных очках, в тугих зарубежных майках бойко шуровали топорами, разваливали туши на куски по научной системе. Зрелище это всегда успокаивало Кима, когда терпеть скрытых чучмек и жидовню не было уже мочи.

– Курва вообще-то какая, товарищи, – постукал зубами, ни к кому не обращаясь, интернационалист Суховертов и стал смотреть, чтобы успокоиться, в угол складского забора на ржавую лебедку, верстак и спинку кровати, на кучу всякого старья, тряпок, яичных прокладок, пакетов из-под молока. Его по утрам успокаивало зрелище металлолома и утиля. Втайне он полагал, что это его последний резерв, что в критический момент подожжет все это и хоть немного погрееется у костра, а из железа соорудит хоть какое-то подобие пулемета для отгона социал-шовинистов, то есть китайцев.

– А Ким правый, правый! – громко заговорил только что подошедший Ишанин, седой московский хулиган тридцатых годов. – Понаехала деревня в Москву без прописки, все булки потаскала. Крендели, ребята, с Казанского вокзала центнерами вывозят, ебать меня за пазуху! Ух, суки проклятые, а мы за Россию воюем, жилы тянем за советское дело! Верно я, Ким, говорю?

Он притиснулся к грузчику рыхлым своим животом, дохнул снизу напитком «гриб», той мерзкий жижей, что в былые годы украшала повсеместно подоконники Петровской слободы.

– Тебя, Ишаня, за твою Россию когда-нибудь в жопу выебут. – Ким зло оттолкнул от себя старика-хулигана. – Не поверите, товарищи, каждый вечер под окнами базарит – Россия, Россия... Вчера не выдержал, кипятком его из чайника полил, а следующий раз, Ишаня, пасть тебе порву!

Ишанин гмыкнул, отшатнулся, но вроде бы не очень-то понял разумные слова Кима. Вытерев рот кепкой, он обратился к Одудовскому:

– В случае возможности, гражданин, тридцать семь копеек не подбросите? Из заключения еду, комиссовали по инфекционному делу, очень заразный.

Петр Павлович тут же выложил нужную сумму, хотя знал отлично, что Ишанин едет из заключения уже двадцать пять лет каждый день.

Ишанин спрятал горстку монет в бездонные штаны, снова вытер рот и нос кепкой и вдруг с воем бросился головой вперед на незнакомого долговязого человека в синей майке. Голова – сильнейшее оружие Ишани, его коронные удары «снабаш» восхищали всегда старожилов Пионерского рынка, а теперь и подрастающее поколение их оценило. Незнакомец же, ничего не зная о прошлом, чужим латышским взглядом спокойно смотрел на летящую к нему заостренную голову в клочьях седых волос.

– Хоп! – вдруг оглушительно выдохнул Алик Неяркий и в самый последний момент остановил опасный полет. Отличная все-таки подготовка у наших «ледовых рыцарей»! Ишанин болтал ногами и полоумно был в железных тисках бомбардира.

– Паразиты, бляди каторжные, да я таких, как вы, в рот, в рот, в рот... В рот меня ебать, маршала Толбухина возил на «Виллисе»... если кто русский, так тот поверит! – так был Ишанин.

Порыв осеннего ветра налетел вдруг на весь «Мужской клуб», окатил нахохлившихся мужиков зарядом холодных капель, взвихрил на асфальте мокрые листья, окурки и бумажки. Все мы застыли тут в диких позах: и Ким, и Суховертов, и мы с Патриком, и Петр Павлович, и два студента-негра, и мясник Фима, и Алик Неяркий с Ишаниным на руках... – а в следующий миг из кучи металлолома поднялась бывшая крановщица, а ныне алкогольная больная Таисия Рыжикова и завопила ужасно:

– Чайку нашу! Чайку белокрылую! За чувашина отдали!

Все обратились к ней, и она, сразу забыв о горькой судьбе ярославской птицы, с игристой близостью приблизилась к «Мужскому клубу», косолапо переставляя ноги в байковых шароварах и поводя плечами, с которых свисал мужской пиджак без лацканов. На прилавке пивного ларька стояла кружка с солью

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ!!!

и в эту кружку Таисия Рыжикова опустила пальчик.

– Утром завсегда солененького хочется пососать, – пояснила она со смутной улыбкой и потупилась, застыла, слилась с мужской массой мгновенно и прочно, будто бы навеки.

... К девяти часам утра у ларька скопилось человек тридцать – сорок. Национальная проблема обсуждалась с нарастающим ожесточением.

– Лично я в Молдавии служил, так там эти молдаваны вроде цыган!

– У меня картошка, как козий горох, а у латыша-суки – как бычья мотня!

– Дерьмом кроют! Срут круто! На латышском говне эта картошка!

– А корейцы собак жрут, понял, и полный порядок!

– В Израиле не наши евреи воюют, а древние!

– Русского человека все в жопу харят, кому не лень!

– Вот кто жить умеет, ребята, так это узбек!

– Чего ты пиздишь – Индия, Индия! Да я всю Индию без оружия пройду, понял, всех голыми руками передую!

– А русскому человеку любой чучмек в зенки плюет!

– Вот я в Коми был – так? – ну, как положено – карел на печке с бабой лежит, а русский Иван в лесу горбатит!

– Весь мир, ебать мой рот, кормим! Чеха кормим, монгола кормим, арабов черножопых и тех кормим!

– У нас теперь «Экстра» за четыре двенадцать, а в Сирии наш спирт по пятьдесят копеек литр, и никто его не пьет.

– А на хуя ж он тогда там?

– Пушки моют!

– Ох, падлы! Ох, суки!

Вдруг со стуком поднялись доски, и все увидели за стеклом ларька родное хмурое лицо Софьи Степановны.

– Разберись, алкаши, – проговорила она вместо приветствия.

Каким чудом Софья Степановна, голубка наша, проникает незамеченной в свой ларек? – думал Одудовский. Уж не ночует ли она там? Может быть, она лишь притворяется в своей неприязни к нам, к «Мужскому клубу»? Может быть, она без нас и жить уже не может? Может быть, в этом она видит свое призвание – возвращать к жизни, снимать дрожь, смягчать тоску мужскую? Да, уж конечно, за хмурой ее оболочкой прячется нежная душа, уж конечно.

Петр Павлович вглядывается. Софья Степановна моет кружки, толстые ее пальцы, похожие на заспиртованных младенцев, шевелятся медленно, темноватое, хотя и отчетливо русское лицо не выражает никаких чувств, кроме постоянной и несильной злобы, но Петр Павлович видит, видит за этой оболочкой ее нежную душу и тянется к ней сильнее, пожалуй, чем к родной жене, которая в этот час лежит, несомненно, растопырив ноги, под каким-нибудь козлоподобным мерзавцем.

Вдруг лицо Софьи Степановны приподнялось от кружек, и что-то блеснуло в затекшем левом глазу очень ярко и мгновенно, как блестит иной раз жестянка или осколок, попав под солнечный луч на печальной городской свалке.

Мужчины, давно уже в предчувствии пива забывшие о больном национальном вопросе и нацеленные все на Софью Степановну, вздрогнули от этого солнечного зайчика.

Оптические явления между тем продолжались. Прорезалась подобием серпа золотая улыбка, матово засветилась в носогубной складке бисерная цепочка пота, и все это богатство, все это пиршество было адресовано, как наконец догадались мужчины, мяснику Фиме.

– Иди в павильон, Ефим, – с удивительной женской мягкостью сказала Софья Степановна. – Кружки мыть будешь.

«Мужской клуб» изумленно ахнул: такой чести за всю историю Пионерского рынка не удостоивался еще никто. Юный анатом Фима, подтянув живот, горделиво покачивая плечами и чуть подвиливая задком, проследовал в павильон. Тут же задребезжал в полутьме женский смех, вдвое быстрее полилась вода, зазвенела медная мелочь, трахнулась вдребезги одна, другая, третья кружки.

– К счастью, Софа, к счастью! – орал Ефим. Правой рукой он мыл кружки, а левой оглаживал необъятный зад Софьи Степановны, да еще и пел, пел – «вернись в Мисхор, где волны тихо плещут...» – ну что еще нужно женщине?

Бог ты мой, разве могла Софа Пищалина с ее внешними данными мечтать о таком веселом молодце? Конечно, клеились и раньше к ней видные мужчины, но все получали грубый и немедленный отпор, потому что клеились из-за пива. Проституты дурацкие слишком переоценивали свою вонючую дрынду и недооценивали гордый и мрачный характер Девы Ручья. А этот, из мясного ряда залетный соловей, моет с ней кружки, и поет про Мисхор, и хохмит, и про действительную службу рассказывает, и по заднице гладит, и почему-то чувствует Софья Степановна, что дело тут не в пиве, что у него на нее, старую, дымится. Хотя пиво Ефим, конечно, пьет, и пьет много, в этом он себе не отказывает, и пей, пей, Фима, если тебе на пользу.

– Пиво дырочку найдет! – кричит добровольный мойщик. – Верно я говорю, Софа? Правильно, мужики?

У Одудовского уже на кончике носа слеза. Счастья тебе, Фима! Счастья вам, Софья Степановна! А Ким стоит с полувопчым оскалом: мясники-придурки и к пиву присосались, теперь пойдет бидонами навывнос, жидам в холодильники.

Но вот, наконец, кружки вымыты. Слились в городской водосток печальные бледные спирохеты, измученные антибиотиками палочки Коха, живучие чертенята-стафилококки, выходцы из зубных расселин.

Пошло пиво! Вот первый ненасытный, на полкружки глоток, пивовороты вокруг карие озных утесов, клочья пены в складках слизистой оболочки, пузыри на жесткой щетине, сладостный озноб по всему телу и, наконец, теплая ободряющая волна, вздох облегчения – жить можно!

Петр Павлович подцепил две кружки пальцами левой руки и еще две пальцами правой. Во рту он держал поводок Муры и так двигался к стене рынка, к каменному приступочку, возле которого обычно с пивом располагался. Мура понимала серьезность момента и шла близко, дрожа своим маленьким телом, словно и ей передавалась тяжесть четырех кружек. Одудовский поставил три кружки на камень, а с одной вступил в соприкосновение, в головокружительный интим, который несомненно похлеще всех ваших половых актов, сударыня.

Вокруг кряхтели, стонали, подвывали другие джентльмены «Мужского клуба». Первую кружку каждый принимал в одиночестве, как даму. Потом уже начиналось общение. Вновь начинал пульсировать национальный вопрос, но тут уже преобладали железы интернационализма, секреция братской любви подавляла селезенку, где, по предположениям, гнездится шовинизм.

– Вот я, ребята, когда в Группе войск служил, так у меня в отделении армян был, таджик, мари и один еврей, чемпион Группы по тройному прыжку, Додик его звали, сокращенно Давид, и ничего, все службу понимали.

– А чего же, советские же люди, или же нет?

– Все люди, как люди, спроси даже любого негатива. Вон гляди, два копченых, а тоже пиво пьют, как мы... Вот гляди, я их сейчас спрошу. Вы, ребяташки, извиняюсь, какой будете нации?

– Не видишь, что ли? Негры они.

– Дуб ты одинокий! Негр негру – две разницы. Откуда, ребята?

– Из Того, месье, мы из Того.

– Ну вот, спасибо. Тоголезы, значит. Очень приятно.

– Хинди-руси-бхай-бхай!

– Молчи, Ишаня-курва!

– Угощайтесь воблой, тоголезы. Давайте знакомиться. Меня Ким зовут.

Черные юноши с оленьими глазами тоскливо ежились под холодным пакостным ветром, пугливо оглядывали толпу людей, столь же не похожих на народы Африки, сколь и на жителей Европы. Тоголезы уже привыкли к тому, что в этом странном огромном плохо освещенном городе их называют «негативами» или «копчеными» и что таксисты проносятся мимо них, как на пожар, с зелеными фонарями, а московские девушки, если с ними заговорить, начинают нервно хихикать и озираются, явно опасаясь, как бы черный сперматозоид не проник при всем честном народе в их белое лоно. Поэтому сейчас тоголезы были приятно удивлены вниманием желтолицего господина в синем халате, господина Кима, то есть Коммунистического Интернационала Молодежи, как расшифровал свое имя этот внешне неприятный, но внутренне gentle сорокалетний господин, и, чтобы сделать и ему приятное, они брали из его рук кусочки противной вяленой рыбы и улыбались, глотая.

Ким очень гордился этим своим знакомством с тоголезами Уфуа и Вуали. Победно поглядывал он на Суховертова – сопи, мол, в тряпочку ты, фрей с гондонной фабрики! В застарелом шовинистическом сердце вдруг разгорелся новый процесс любви.

Мы все удивлялись и умилялись тому, как вдруг крепко подружился с неграми известный ненавистник разных наций Ким Кошулин. Наконец-то с сорокалетним опозданием его имя, любовно отобранное родителями, энтузиастами Эпохи Реконструкции, стало соответствовать поведению. Мы начали было спорить – предложит ли Ким тоголезам скинуться на троих, а Ким, забрав у новых друзей по одному рублю тридцать восемь копеек, уже косолапил за банкой. Пяти минут не прошло, как новоиспеченная троица уже опрокинула по стакану «Ерофеича».

Выпив «Ерофеича», студенты хотели было попрощаться, но обаятельнейший господин Ким обхватил их за талии и выкатил глазища в лукавом скосе.

– Не пуцу, Увуаль, и тебя, Борис, не пуцу! Пьянка пьянкой, а попиздеть тоже надо. Ведь мы же люди – так? – или нет? – не обезьяны же человекообразные – верно? – ведь мы с вами не змееобразные крокодилы – правильно я говорю или ошибаюсь? Хотите, я вам медиума покажу? Между прочим, известный в прошлом бомбардир Александр Неяркий. Настоящий медиум – пиво ногой открывает! Алик, знакомься с товарищами из Конго! Того, говорите? Допускаю; главное, чтоб люди были, чтобы все по-человечески. Товарищи, у кого имеется бутылка пива?

– Опомнитесь, Ким! – с театральным широким жестом произнес неузнаваемо оживившийся Одудовский. – Какие же здесь бутылки пива? Ведь здесь же море пива! Пивная нирвана!

– Отскочи, падла, со своей ванной! – прорычал с отзвуком вчерашнего кошмара Ким. – Мне важно дружкам номер показать. Алька, может, лимонад откроешь?

Неяркий пожал квадратными плечами:

– В порядке исключения, можно.

Бутылка тоника «Саяны» была установлена на асфальте перед бликом, и тот, почти не глядя, мгновенным и ужасным ударом ботинка снял с нее металлическую пробку. Бутылка и не шелохнулась.

– И тара не страдает! – завизжал Ким. – Тара нисколечко не страдает, товарищи!

Он схватил за грудки Уфуа и брызнул ему в лицо фонтанчиком своей больной желтой слюны.

– Бутылка целая! Видите, пиздюки! Кто у вас так умеет? Небось посла германского сожрали, а бутылки вам жида в Тель-Авиве открывают? Гады черножопые, всех бы передавил! Вррроттвссррра-ккку...

Уфуа, серый от испуга, пытался спасти свой складненький парижский пиджачок. Все окружающие поняли – идиллии конец, Ким сорвался! Главный оппонент по нацвопросу Суховертов отодрал Кошулина от тоголеза и потащил за угол ремконторы, на ящики.

– Кимка, Кимка, спокойно, – бормотал Суховертов. – Кимка, как считаешь, «Спартак» «Шахтера» причешет?

Не мог смотреть Суховертов, как Ким позорится: ведь были они одноклассники, всю жизнь провели вместе, еще с первого послевоенного розыгрыша, когда паршивый «Зенит» сделал дубль.

Ким тащился за другом, сцепив пальцы на затылке, плюясь и исторгая бессмысленный мат.

Тоголезы собрались было бежать, но тут другой господин русский, совсем уже очаровательный, раскрыл им свои объятия. Вот ведь как странно, черные студенты даже и не подозревали, что рядом с их общежитием каждое утро собирается клуб покровителей развивающихся стран.

Перед Петром Павловичем на газете «Социалистическая индустрия» распластался крупно нарезанный красавец, малороссийский помидор, и нежнейшие огурчики, как зарос-

дыши-крокодилята, окружали горку полтавской колбасы, а две чекушки удерживали по краям боевой листок нашей промышленности.

– Милости прошу, мадам и месье! – пропел Одудовский. – Где-то по большому счету я весь перед вами! Алик, вы присоединитесь к нашему столу?

– Вейт э вайл, феллоушип. – Бомбардир подмигнул неграм. – Сейчас дело закончу, и я ваш.

Как видим, не все в «Мужском клубе» пребывали по утрам в похмельной прострации. У Алика, например, было деловое свидание с механиком из гаражного кооператива, могущественным дядей Тимой. Ты мне поршни, я тебе вкладыши, ты мне диски, я тебе сальники – такое было дело, нормальный автомобильный рэкет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.